

Поэты – рабочему

Стихи и проза ивановских авторов
к 150-летию
со дня рождения
Авенира Ноздрина



Иваново 2012

ББК 84(2Рос=Рус)6
П67

Составители:

А. Н. Лапшин,
В. Н. Глотова,
Д. В. Шепелёв

Материалы для подготовки сборника представлены Центральной универсальной научной библиотекой Ивановской области.

Сборник посвящён 150-летию со дня рождения Авенира Евстигнеевича Ноздрина – рабочего, поэта, председателя Совета рабочих депутатов, созданного в нашем городе в грозовом 1905 году.

Его поэзия была широко известна трудовому народу Иванова. Его знали, любили и уважали.

В книгу вошли стихи и воспоминания Авенира Ноздрина, а также произведения Константина Бальмонта и Александра Благава, которые были непосредственными участниками событий 1905 и 1917 годов.

Их творчество служило делу революции.

Приведены биографические справки о жизни поэтов.

Сборник знакомит с историей нашего края, поразительно актуален в наши дни. Книга рассчитана на широкий круг читателей.

© Общественное движение «Советский центр», 2012.

© ООО «Издательство МИК», 2012.

© Панюшкина Е.Н., верстка, оформление, 2012.

МЫ КУЗНЕЦЫ

Мы кузнецы, и дух наш молод,
Куём мы счастья ключи,
Вздымайся выше, наш тяжкий молот,
В стальную грудь сильней стучи,
Стучи, стучи!

Мы светлый путь куём народу,
Мы счастье Родине куём...
И за желанную свободу
Мы все боролись и умрём,
Умрём, умрём!

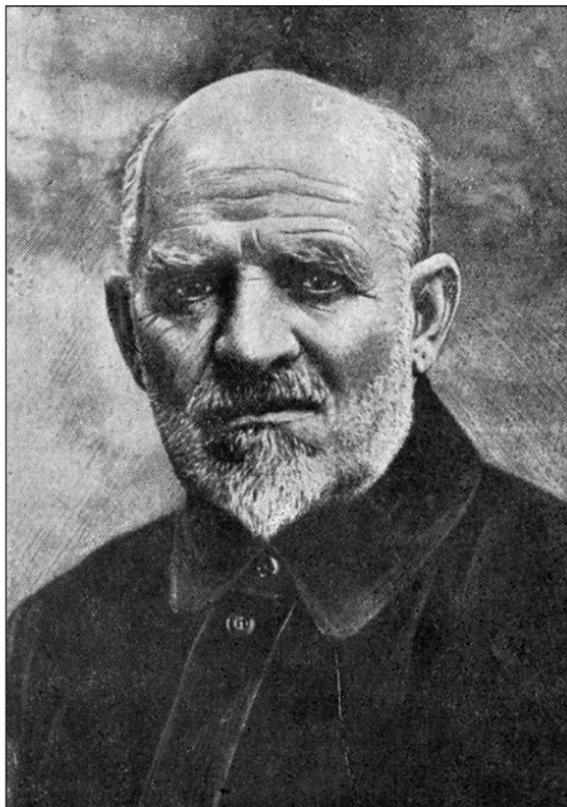
Мы кузнецы страны рабочей,
Мы только лучшего хотим,
И ведь недаром мы тратим силы,
Недаром молотом стучим,
Стучим, стучим!

И после каждого удара
Редее тьма, слабеет гнёт,
И в городах земного шара
Народ измученный встаёт,
Встаёт, встаёт! *

* Слова песни написаны пролетарским поэтом Ф. С. Шкулёвым под впечатлением баррикадных боёв на Красной Пресне, впервые напечатаны в 1912 году в большевистской газете «Невская звезда». Слова обрели мелодию, и родилась революционная песня, «лёгкая, звонкая, краснопёрая». Так определил эту песню Дмитрий Фурманов. В повести «Чапаев» он писал о песнях борьбы, которые пели «с такой простотой, с беспредельной любовью, с жарким чувством. Те песни гордостью и восторгом воспламеняли полки. Ах, песня, песня, – восклицал он, – что можешь ты сделать с сердцем человека!» («Смелей вперёд и твёрже шаг!» Сборник песен. М., «Молодая гвардия», 1977, С.18).

Авенир Ноздрин





Авенир Евстигнеевич Ноздрин (1862–1938) – поэт, журналист, литературный критик, краевед, общественный деятель, Герой Труда (1921 г.), Почётный гражданин города Иванова.

Во время всеобщей стачки иваново-вознесенских рабочих 1905 года был избран председателем общегородского Совета рабочих депутатов.

С 1919 года 13 лет работал в редакции газеты «Рабочий край». В 1938 г. был незаслуженно репрессирован.

Его останки захоронены на Мемориальном кладбище революционеров текстильного края в Иванове. Образ его увековечен в граните в Мемориальном комплексе на Талке.

Имя Ноздрина носит одна из улиц города Иванова.

Евгений Глов Пути к истине

1905 год, май месяц... Революционная волна докатилась до Иваново-Вознесенска. Стали фабрики и заводы. Рабочие собирались в центре города – на «Горе» и на берегу реки Талки. Они вырабатывали требования к фабрикантам, учились вести борьбу с угнетателями за свои права. Занятия в «Талочном университете», как называли их восставшие, велись каждый день. Здесь звучали зажигательные речи пламенных революционеров Евлампия Дунаева, Михаила Фрунзе,

Андрея Бубнова... Руководил Ивановской группой Северного комитета РСДРП Фёдор Афанасьевич Афанасьев (партийная кличка «Отец»).

Одной из самых заметных фигур на Талке был беспартийный поэт Авенир Ноздрин. Революционная волна подхватила его, «в те дни безработного гравера», связанного общественной работой с кооперацией и зарождающимся профессиональным движением... «Это обязывало меня, – вспоминает он впоследствии в дневнике, – встать в ряды восставших ивановских рабочих, и я оказался среди них своим человеком».

Своим человеком... Это значит быть в гуще народа, жить его жизнью, говорить его языком. Участие в революции было взлётом и его творческих сил. Из-под пера поэта одно за другим выходят «крамольные» стихи – «Невеста», «У кроваво-роковой грани», «На другой день забастовки», поэма «Гора»... Особенно популярными в эти дни были такие строки:

Казачи-астраханцы
Плясали на конях,
И жутки были танцы
На сытых лошадях...

Или –

Я всю ночь не спала,
Шила флаг боевой

И на нём вышивала
Свободы слова...

Берега Талки слышали не только «Марсельезу», но и песню «Нагайка», исполняемую на мотив «Разлуки». Слова к ней подобрал Авенир Ноздрин:

Нагайка, ты, нагайка,
Тобою лишь одной
Романовская шайка
Сильна в стране родной.

На жалобы, на стоны
Голодных русских масс
Один ответ от трона –
Лупить нагайкой нас.

Царит нагайка всюду,
Сильна в стране родной,
Но ей царя-Иуду
Спасти не суждено.

Нагайки свист покорный
Забудем навсегда,

Вперёд пойдём упорно
Под знаменем труда.*

Чтобы писать такие стихи, надо иметь помимо таланта гражданскую и политическую смелость. Конечно, они не могли появиться в печати, но звучали на сходках, митингах и маёвках, заучивались рабочими наизусть. По мере сил помогала поэту жена его, Наталья Максимовна. Она переписывала стихи от руки, и они распространялись среди восставших ткачей. Популярность поэта росла с каждым днём. Недаром провокатор, некто «Фабричный», в доносе полицмейстеру Кожеловскому предлагал «...убрать Ноздрина, жену его, Дунаева и Царского...»

Поэта многие знали в лицо, к нему обращались за советом, он читал стихи и прокламации. И не случайно, когда начались выборы в Совет, ткачи фабрики Зубкова, где Ноздрин начинал трудовой путь, назвали его своим депутатом. На первом же заседании Совета, проходившем в земском зале Мещанской управы, все 150 депутатов единодушно избрали его Председателем первого в истории России органа рабочей власти. Это была именно власть. Совет создал рабочую милицию, ведал

* Полный текст этой песни, популярной среди бастующих текстильщиков летом 1905 г., впервые был записан и распространён председателем Иваново-Вознесенского Совета рабочих депутатов поэтом А.Е. Ноздриным. Первое четверостишие этой песни было напечатано в ленинской газете «Пролетарий».

финансами восстания, принимал постановления и решения, которые были обязательны для всего населения города. Даже владимирский губернатор вынужден был обратиться в Совет с просьбой разрешить ему отпечатать объявление типографским способом...

Такое двоевластие, такое противостояние сил рано или поздно должно было разрешиться столкновением. И оно произошло утром третьего июня на реке Талке: казаки ворвались в толпу безоружных рабочих, многих загоняли нагайками и саблями в лес, а в тех, кто бежал к железнодорожному полотну, целились из винтовок и по словам Ноздрин «снимали с насыпи, как куропаток...» Чтобы обезглавить Совет, арестовали его Председателя и на несколько суток упрятали в кутузку. Но уничтожить рабочую власть в городе им не удалось: Совет продолжал руководить всеобщей стачкой ещё пятьдесят дней. И только осенью, когда опустела его касса, и от голода и холода начались болезни, Совет постановил: «Стачку прекратить»... 72 дня просуществовал этот орган народной власти – столько же, сколько Парижская коммуна, и значение его в истории рабочего движения непреходяще...

Кровавая расправа казаков над восставшими ткачами оставила в душе поэта незаживающую рану. По горячим следам событий он начал писать самое крупное своё произведение – поэму «Ткачи». Работу над ней в черновом варианте закончил осенью. Вскоре начались бесчинства черносотенцев. Первым из приговорённых ими к смерти был Ноздрин. 22 октября черносотенцы ворвались в дом поэта. Только чудом удалось

ему спастись: его друг Сергей Кожухов, которому Авенир читал свои новые произведения, услышав крики на улице и песню «Спаси, Господи, люди твоя», смекнул, в чём дело, и почти силой вытолкнул Ноздрину из дома. Задворками они пробрались на другую улицу. Авенир уехал в Москву...

В доме черносотенцы устроили погром. Они надругались над женой поэта, Натальей Максимовной: вытащили её за косу на улицу и избili до полусмерти. А все рукописи, письма, дневники и черновики – «всё разом превратилось в добычу самых разнузданных страстей» (А. Ноздрин. «Талка»). В последующие дни те же черносотенцы на другом берегу Талки, вызвав Фёдора Афанасьева на переговоры, зверски растерзали его крючьями, убили на вокзале Ольгу Генкину, привезшую из Москвы политическую литературу и пистолеты. Из всего погибшего ноздринского наследия уцелела только поэма «Ткачи». Он показал её московским критикам Шулятикову и Рожкову, которые одобрили это эпическое произведение. Однако и с поэмой приключилась печальная история: она была утеряна во время переезда из Москвы в Рыбинск, и больше поэт никогда к ней не возвращался...

Говоря об умелом руководстве Ноздриным первым Советом, некоторые учёные и краеведы намеренно забывают сегодня о том, что за его спиной стояла мощная сила в лице ивановских большевиков, популярность которых в народе была преогромной. Особенно выделялся среди них юный Евлампий Дунаев. Это был оратор милостью Божьей, настоящий

учитель «Талочного университета». Его слушали, затаив дыхание, боясь пропустить слово. Ноздрин впоследствии напишет:

Дунаев говорил. Казалось, с наших плеч
Сползали лямки трудового ига...

И всё-таки, почему именно Ноздрин, а не Дунаев и не кто-либо другой стал председателем Первого Совета? Ответ на этот вопрос надо искать в решении партийной сходки, состоявшейся накануне организационного заседания Совета. На том же берегу Талки за сторожкой лесника вечером собралась вся ивановская группа Северного комитета РСДРП. Повестка дня сходки – выборы Председателя Совета. Все большевики – все до единого! – высказались в пользу Дунаева. И тут «Отец» произнёс своё веское слово, в котором проявил большую политическую прозорливость: «Негоже, чтобы в нас, большевиков, тыкали пальцем. Надо избрать беспартийного, который своей политической платформой приближался бы к нам». Такой фигурой ему виделся Авенир Ноздрин. За ним послали, и поэт, понимая всю ответственность момента, предстал перед собравшимися при свете костра, одетый с иголки: на нём были новые брюки, новая косоворотка и новые штиблеты. С волнением выслушал он предложение большевиков и, немного подумав, ответил «да»...

Авенир Евстигнеевич Ноздрин родился в селе Иваново Шуйского уезда Владимирской губернии 29 октября (10 ноября по новому стилю) 1862 г.

Он был шестым ребёнком в семье ярмарочного приказчика у фабриканта Игумнова. После смерти отца семья испытывала материальные затруднения, и Авенир рано стал на трудовую стезю. Обучившись у дьячка Магницкого славянскому языку и чистописанию, он поступает в земское училище, заканчивает практические курсы при фабричной гравёрной мастерской и... – самостоятельная работа на фабрике. Однако роль гравёра «среднего калибра» ему «улыбалась мало». Юношу тянуло к знаниям, хотелось путешествовать, хотелось познать истину – «Кому вольготно, весело живётся на Руси» и как сделать чтобы всем жилось хорошо. В поисках этой истины двадцатилетний юноша с двумя товарищами под видом странника-богомольца исходил по Руси с посохом в руках более двух тысяч вёрст. Впоследствии в очерке «Как мы начинали» он напишет об этом путешествии такие слова: «... за время пешего хождения я пришёл к тому убеждению, что везде живётся несладко, что жалобы рабочих и крестьян на свои житейские тяготы одинаковы, горечь жизни пьют они из одного ковша, черпают эту горечь из одного ямника».

Закончив путешествие, повзрослевший, повидавший жизнь, он с головой уходит в работу подпольного кружка, руководимого будущим его родственником Иваном Осиповичем Слуховским (они были женаты на сёстрах). По характеру своему это был кружок саморазвития (здесь читали Лассалья, Чернышевского, Добролюбова, Некрасова...), но кружковцы чувствовали себя революционерами.

После разгрома кружка жандармами Ноздрин попадает в Питер, где и состоялся его уникальный поэтический дебют. Великий символист Валерий Брюсов познакомился с рукописью первой книги Ноздрина «Поэма природы». В ней было 32 стихотворения символического уклона, но в них уже проклёвывались ростки иного звучания – как отголоски путешествия по Руси и работы на фабриках.

Высоко оценил выдающийся русский поэт стихи Авенира Евстигнеевича. Вот что он писал в письме к своему другу П. П. Перцову, датированном 20 марта 1895 года: «Осенью напечатаю я 4-й выпуск «Русских символистов» и сборник стихотворений Авенира Ноздрина. Очень оригинальная поэзия».

О своей встрече с великим поэтом А. Е. Ноздрин вспоминает в том же очерке «Как мы начинали»: «Пути к истине, – сказал Валерий Яковлевич, – часто бывают выше самой достигнутой цели...»

Остановился он как-то и на мне, как на авторе, которого пора печатать и издавать. Он находил во мне оригинальными и такие приёмы:

Мы волны считали: седьмая, восьмая;
И вот роковая нашла...
И вздрогнула наша семья небольшая,
Когда нас она обняла...»

Однако издание по каким-то причинам не состоялось, а стихи долгое

время считались утерянными. В начале 90-х годов прошлого века рукопись была найдена в архиве Брюсова ивановским исследователем творчества символиста С. Н. Тяпковым и полностью опубликована в газете «Рабочий край».

К началу XX века в творчестве Ноздрин появились новые настроения – пролетарские. В его стихах, как в зеркале, отразилась жизнь рабочих центрального района России. Исследуя их каторжный труд, их нищенское существование, он как бы завершил поиск истины, начатый в романтические 80-е годы. И крик души его – «Уж очень тяжёлый стон страны» («У грозного порога», 1898 г.) – возвестил о начале нового этапа в его творчестве – борьбе за освобождение трудового народа. С таким поэтическим багажом и подошёл Ноздрин к началу первой русской революции.

Участие в ней было звёздным часом поэта и гражданина и вместе с тем оно стало в будущем его трагедией. Именно потому, что Авенир Евстигнеевич был Председателем Первого Совета, его арестовали 3 июня 1907 года и заключили во Владимирскую тюрьму (центральный), где он провёл полгода, затем – двухлетнюю олонекскую ссылку...

Но всё это – цветочки. Ягодки его ждали впереди – при власти, за которую он боролся... Предварительно скажем, что в тридцатые годы слава Ноздрин достигла своего апогея: он издаёт «Избранное» (1935 г.), становится членом Союза писателей СССР, ему присвоены звания Героя труда, Почётного гражданина города. Он член губкома и ЦК МОПР,

непременный участник всех общественных мероприятий. О нём пишут стихи, называют дедушкой революции... Эта слава, кажется, должна была гарантировать ему спокойную жизнь до самой естественной смерти... Но начались годы репрессий. В 38-м подбирали «эсеровских недобитков». Взяли и Ноздрин за связь с эсерами в апреле–сентябре 1917 года. Не будучи формально членом партии социалистов-революционеров, он всё же баллотировался от них в городскую думу, ездил на их собрания в Середу. Чекисты не уничтожили архив поэта, как в 1905 году черносотенцы, а погрузили его и всю библиотеку поэта на две грузовые машины и увезли в неизвестном направлении. На первом же допросе Ноздрину предъявили ещё одно, чудовищное по своей сути, обвинение...

Брошенная в Кремле ивановской делегации фраза вождя о том, что в Иваново-Вознесенске не было первого Совета и, значит, не может быть торжеств по случаю его 30-летия (очевидно, Сталин хотел отдать пальму первенства Гурийскому восстанию), оказалась роковой для семидесятишестилетнего Ноздрин. Следователи обвинили его в самозванстве: в Иваново-Вознесенске, где, не было Совета и, стало быть, Ноздрин не мог быть его председателем. 48 страниц протокола испещрены такой нелепицей, и все их Авенир Евстигнеевич подписал. Во внутренней тюрьме НКВД его и били, и пытали, но не потому он оговорил себя. Он хотел показать будущим исследователям архивов всю несостоятельность следствия, и что пока есть документы и они

хранятся в надёжных руках, переписать историю никому не удастся.

Так и не дождался узник суда над собой. Он умер 23 сентября 1938 года не своей смертью. Свидетелем последних минут Председателя был его сокамерник поэт Николай Часов. Вернувшись в Иваново через десять лет из «мест, не столь отдалённых», он встретился с внучкой Ноздрина Ириной Карловной Гаффнер. По его словам, за Авениром Евстигнеевичем пришёл конвоир, чтобы отвести его на допрос. Больной, измученный побоями старик, кряхтя и постанывая, очень медленно поднимался с нар. Нетерпеливый конвоир сдёрнул его за ногу. Поэт ударился головой о цементный пол и тут же скончался...

Более двух десятилетий имя Ноздрина было в забвении. В начале шестидесятых годов поэта реабилитировали и вновь заговорили о нём. В 1962 году, к столетию поэта, была переиздана его первая книга «Старый парус», на реке Талке установлен его бюст, одна из улиц Иванова стала носить имя Ноздрина. Как Председатель Первого Совета и зачинатель пролетарской поэзии, он значится в справочниках и книгах, посвящённых истории революционного движения в России. О нём снова пишут очерки и стихи...

У меня на столе лежит книга «Авенр Ноздрин. Дневники. Двадцатые годы». Издание Ивановского государственного университета. Поражают акценты вступительной статьи: идёт поиск какого-то нового Ноздрина. Анализирую отдельные негативные высказывания в адрес интеллигенции

или местной власти в период НЭПа, авторы вступления и комментариев подводят читателя к мысли, что А. Е. Ноздрин не случайно репрессирован, что он был демократом чуть ли не в сегодняшнем понимании этого слова. Но, читая сами дневники, убеждаешься, что и в это сложное время он, мучительно ища истину (вспомните Есенина: «С того и мучаюсь, что не пойму, Куда несёт нас рок событий...»), не свернул со своего главного пути...

Когда умер В. И. Ленин, в дневнике в тот же день появилась запись: «Боже! Как жаль Ильича!» И до самого февраля в каждой записи – слово о Ленине. Тут и стихи, и раздумья. А 30 января он запишет такие слова:

«Почему люди пишут стихи – вопрос трудно разрешимый.

Смерть Ленина отчасти этот вопрос разрешает: стихов о нём в редакции уйма, что говорит больше за то, что стихи эти лучшие победы души авторов, что через них эти люди приобщаются к вселенскому горю».

Или ещё запись – о политических пристрастиях поэта:

«Многое из прошлого меня удерживает от того, чтобы самого себя называть коммунистом (возможно, имеется в виду связь с эсерами), но если меня коммунистом назовут другие, то я от этого почётного звания отказываться не буду» (1923 г., 6 июля).

Таким был Председатель Первого Совета – поэтом и гражданином своей страны, который мечтал о её развитии и процветании.

Таким он нам и дорог.

Из цикла «В ГОРОДЕ ТКАЧЕЙ»

У ГРОЗНОГО ПОРОГА

Не нагладишься на луга,
Не налюбуеться полями...
Они, поёмы-берега,
У Волги стелются коврами.

Но эта Волги красота
Стоит у грозного порога:
Иные тянутся места,
И взор гнетёт печаль-дорога.

То за работою пришли,
То просит хлеба рать бездомных.
Они в деревне не нашли
Приюта для людей голодных.

Теперь, бросая якоря,
Они хотят здесь задержаться...

В немолчном гневе волгара
Порывам злобы не уняться.

Рёв полных скорби голосов
Не может чутких не печалить,
И стон от волжских берегов
Уже не думает отчалить.

Ждать надо паводка, волны,
Грозы народного подъёма:
Уж очень тяжёк стон страны,
И слишком всех гнетёт истома!

1898 г.

СТАРЫЙ ГОРОД РАБОЧИХ

Город хилых, жалких хаток,
Город каменных палат,
Крепко запертых палаток
И церковных анфилад.

Твой хозяин сыт, доволен.
Ткач быть сытым погодит;
То, что он совсем бескровен,
Для хозяина не стыд.

Он, владыка, рад притоку
Деревенских беглецов.
Рад их поту, крови-соку,
Рад он видеть в них рабов.

На «своих» он зубы точит:
Горожанин дерзок стал,
Разбирается рабочий
В том, чем дышит капитал.

1907 г.

У ФАБРИЧНЫХ ЗАСТЕНКОВ

Здесь казённых нет работ,
Ткут миткаль из пряжи.
А взгляните: у ворот
Сколько всякой стражи!

Словно здесь «Рабочий дом»,
Где за ткацкой «парой»
Честный труд не стал трудом,
А какой-то карой.

1906 г.

СМЕННЫЕ

Бьёт десять... Шум ремней умолк.
Умолк и визг меж шестернями
И не снуёт в станке челнок,
И нет ткача между станками.

Спешит домой он в этот час,
В пути его раздумья горьки:
Ткача ждёт ужин: кислый квас
И сухари из хлебной корки.

Шум-гам машинный сменит он
Расчётом-выкладкой о хлебе...
И будет тяжек ночи сон
На рваном стареньком отребье.

А завтра к часу дня ему
Придётся вновь вернуться к шуму.
Он сменит брата по ярму,
Но о нужде не сменит думу.

1911 г.

СМЕРТЬ ТКАЧА

Всю жизнь он ткал, сдавал миткаль,
Его обмеривали в «штуке...»^{*}
В его лице жила печаль
Большой, невысказанной муки...

Ткач умер. Сменщик загрустил.
Учёл свою больную силу,
И с плачем смену пропустил:
Отнёс товарища в могилу.

Ткача несли на миткале.
В гробу лежал он бледный, тощий.
И на пути к сырой земле
Не тяготились смертной ношей.

Но и на этот раз миткаль
Он растянул, «пример»^{**} дал штукe.
А взял с собою он печаль
Большой, невысказанной муки.

1911 г.

^{*} Местное название куска миткаля.

^{**} «Пример» в старом производстве при выработке миткаля получался в интересах фабриканта от особой установки ткацкого станка.

ЭТАПЫ

Впотьмах порабощения,
В тисках былых неволь,
Мы ткали за лучиною,
Тая на сердце боль.

Лучину свечи сальные
Сменили, но тягло
Хозяйской подъяремщины
Нас пуще пригнело.

И свет свечей, подсвечники
Сменяет капитал:
Мы осветились лампами,
Но труд не легче стал.

За светом керосиновым
Идёт победный газ,
А труд при свете газовом
Ещё стал злей для нас.

Казалось, электричество
Спасёт нас: тьма, прощай!
А жить так стало маятно,
Хоть всё вокруг зажигай!

1911 г.

СТАРАЯ ТКАЧИХА

У ворот фабричных
Старая Петровна...
На словах обиды,
Горяча, задорна.

Говорит товаркам:
– Эх, мы, бабы, бабы,
Как мы все забиты,
Голодны и слабы!

Лет, поди, уж сорок
Мучаюсь я в ткацкой.
Я глуха: у нас ведь
В корпусах шум адский.

И суха, как щепка,
Есть на то причины...
Из меня бы надо
Нащепать лучины.

И лучиной этой
Подпалить жизнь злую:
Надо выжечь тягость,
Маяту людскую!

1911 г.

«ИНТЕРНАЛ»

Старый ткач чтеца-сынишку
От книжонки оторвал.
– Брось-ка сказки. На вот книжку...
Ты её бы почитал!..

Книжка, парень, небольшая,
Много меньше псалтыря,
А поверь, сынок, такая...
Против бога и царя...

Ты найди в ней песню эту.
Ту, где пишут: будет бой,
Всех купцов сживут со свету...
Ты читай – я за тобой. –

И за сыном, как молитву,
Учит ткач свой «Интернал».
– Слышишь, баба, скоро в битву
Мы пойдём на капитал... –

И неожиданно вдруг он всхлипнул...
Со слезами – на жену:
– Ты ворчала всё, что гибну,
Что я тешу сатану.

Это будет бой последний:
Ночь гнетущая пройдёт,
Силой властною, победной
Наше солнышко взойдёт.

СТАРАЯ ПЕСНЯ О ТРУДЕ

У Гарелина Мефодья
В корпусах станки шумят,
Из рабочих гнут ободья –
Только спинушки трещат.

Эх, дубинушка, ухнем!
Эй, зелёная, подёрнем!
Да, ух!

Для Кокушкина Захара,
Богача из богачей,
Мы везём котел для пара
На штрафные от ткачей.

Эх, дубинушка, ухнем!
Эй, зелёная, подёрнем!
Да, ух!

ШПИКИ И ПРЕСНЯКИ 1897 г.

Тридцать лет с пятком назад
Мы бунтили, бастовали.
– Ну ткачи опять шумят... –
Обыватели ворчали.

В штаб губернский войсковой
Шли за войском телеграммы.
Ткач наш, на ухо тугой,
Ждал того, что скажут «Ямы».

А у «Ям» давным-давно
Ох, как злоба накопела;
«Ямы» знали лишь одно,
Что ткачи взялись за дело.

Бабы месят пресняки,
Угодить мужьям охота,
Что по делу мужики
Вышли с фабрик за ворота.

Бабы шепчутся с утра:
Мы и сами побушаем,
Мужикам и нам пора
Поцарапаться с буржуем.

На Всесвятской в мезонине
Из эс-деков штаб-стачком;
Начадили, как в овине,
Шумно, спелись все во всём.

Всё учтёно: штраф, обмеры,
Непригодность, брак основ,
Мастера и инженеры,
Сам Витов и Дербенёв... *

Шныряют тут и там шпионы,
Те, что тешили властей,
Что с.-д. искоренёны,
Нет крамолы средь ткачей.

А она из ссылок, тюрем
Как сумела убежать?

По купцам, по самодурам
Начинает бить опять.

Рвёт и мечет Тимофеев,**
Ополчился на своих:
Тонет он среди трофеев –
Прокламаций боевых.

И в борьбе с крамольным духом.
С толку сбилися шпики;
А ямским борцам, стряпухам,
Удались пресняки.

1932 г.

* Витов и Дербенёв – ивановские фабриканты.

** Тимофеев – brave жандармский полковник, любивший хвастать своими сыскными талантами.

ОТЦЫ РЕВОЛЮЦИИ

В чаду табачном в комнате-курилке
Подвижники подполья спор ведут,
Где душно, как в избе сибирской ссылки,
Когда собиралися на диспуты, на суд.

Подпольщики один другого старше,
Кто слеп, кто дряхл, но больше молодцы;
И все они – герои жизни нашей,
Великой революции отцы.

Весь Север, всю Сибирь они перепознали,
Как книгу скорбную отчаяний земли,
Где Ленина одни встречали,
Другие с ним туда этапом шли.

В речах у стариков немало анекдотов,
О ротмистрах, тюремщиках, шпиках,
Каких-каких они ни знали обормотов,
Чего ни довелось им видеть, будучи в цепях!

Пережегается всё это сожаленьем
О рано выбывших из боевых рядов;
Подсчитывают добытый терпением
Стаж ссылки, тюрем, каторжных годов.

Немудрено, что эти люди слепы,
Что преждевременно пришлось одряхлеть...
Но кончено... Забудем тюрем цепи:
Насилием им больше не греметь...

Звенят звонки в хоромы бывших барских,
Зовут на заседание дней старых бунтаря...
В программе дня: тринадцать лет октябрьских,
Двенадцать лет предгрозя Октября».

1930 г.

ЗОЛОТОЕ ДЕТСТВО

То и дело слышишь
Сказку стариков,
Вспоминают детство
Золотых годов.

Знаю это золото
Медных пятаков,
Праздничных подачек
Пьяненьких отцов.

С пятакom бывало
На базар бежишь,
Где на сайки, сласти
Только ведь глядишь.

А не купишь сладкого, –
Жадными глазами
Тянешься за книжкой
С лешими, с чертями.

Верили за книжкой
В бредни вековые:
Что в лесу есть леший,
Дома – домовые.

С детства нам твердили:
Жизнь – грехопаденье,
И за всё сулили
Адские мученья.

Но прошли, как смылись,
Эти времена:
«Детству золотому»
Стала грош цена.

Выжег ад кромешный
Новой жизни пламень...
Батяка перед сыном
Стал держать экзамен.

Дед дивится знаньям
Карапуза-внука,

Поражает старого
Внукова наука.

Нет детей в загоне.
Нет детей в тени;
Настоящим золотом
Блещут детства дни.

Пышут путеводные
Пионеркостры, –
Это вежи к радости
Радостной поры.

НЕЛЕГАЛЬНЫЙ

Как вор в ночи, поднявши ворот,
Крадусь я городом родным.
А ведь недавно этот город
Меня любил, считал своим.

Родная, милая сторонка,
Пришёл семью я увидеть.
Хоть услышать бы плач ребёнка!
Хоть колыбель бы покачать!

Но как-нибудь до наступленья
Шумихи – жизни городской –
Ещё одно я преступленье
Свершу – увижуся с семьёй.

Посты мне в городе знакомы,
Я обойду их, прячась в тьму.
С тряпья холодного, с соломы
Семью родную подниму.

А схватят... тяжкая дорога...
Этап... Путёвка на гроши...
И я до милого порога
Крадусь, как вор в ночной тиши.

1911 г.

«ЦВЕТУТ ФИАЛКИ»

Я помню прошлого маёвки...
Тот день особенно большой,
Нечеловеческой издёвки
Над человеческой душой.

Мы из подполья уходили
В лесные дебри-тайники,
А вслед за нами шли, следили
Казачи, подлые шпики.

Мне не забыть – «цветут фиалки» –
Пароль весенних наших дней...
И помню, как нас на лужайке
Сгоняли в стадо, как зверей.

Они тогда из нас собирали
Букет весны, венки плели.
И зло нагайками хлестали,
Чтоб в нас фиалки не цвели.

«Цветут фиалки»... В ссылке, в тюрьмах
Мы долго помнили потом,
И никогда в своих раздумьях
Не примирялись с врагом.

А там нас мучили, томили
Держа в железе и в пыли.
Но мы и там борьбою жили –
В душе фиалки берегли.

1910 г.

ЮБИЛЕЙНОЕ*

Поэту-двойнику Александру Николаевичу Благову

Поэт заводов, фабрик, Глинищева, Ям,**
Художник, мастер песенного слова,
Как ткач ты рассказал ткачам
О новых их путях, о их путях былого.

А нынче о тебе ткачи ведут рассказ,
Чем был ты за полсотни лет в краю текстиля,
Как вырос из тебя поэт энтузиаст
Созвучного эпохе нашей стиля.

Была пора: ты знал полей народ,
Шёл к песням от лесов и пастбищ,
Но грянул пятый, пролетарский год,
И ты запел, как новых дней товарищ.

* Написано в 1933 г., в день юбилея, пятидесятилетия со дня рождения поэта А. Н. Благова.

** Глинищево и Ямы – рабочие окраины.

А самого травил годами анилин,*
Дивиться надо, как тебя совсем не затравили,
От анилина шёл лишь путь один:
Под заступ, к преждевременной могиле.

Не легче гнёт был и других систем,
Где надо было обливаться потом,
Что сохранил ты для сегодняшних поэм,
Что стало у тебя, поэта, взлётом.

Мучительнее анилина был царя сапог.
Кого он не давил жестокою пятою?
Для наших вольных песен не было дорог,
Борьба за них была мучительной борьбою.

Твой путь – мой путь: через одни рогатки
Его нам приходилось пролагать,
И наших песен первые зачатки
Не можем мы победою назвать.

* Анилин – ядовитое, химическое вещество, входящее в состав красок сит-целечатных фабрик.

Сейчас же мы живём
Такой искусства полнотою,
Чего и сфантазировать мы раньше не могли.
И счастливы мы тем,
Что под кнутом, нуждою
Свой песен дар, как честь уберегли.
Нам это говорит:
Твори и создай!..
Поэт, гордися юбилейной датой:
Ивановский текстильный край
Тебе сегодня скажет:
Ты его
Поэт-вожатый.

Из цикла «ПЯТЫЙ ГОД»

9-е ЯНВАРЯ

Петербург
Всегда скупой
На солнце.
Дни январские,
А снег
От боя тает:
На асфальте,
На булыжнике,
На торце
Люд рабочий
Умер,
Умирает.
На смерть сотни
Повалили пули...
И за что?
За мысль,
Царя любовь познать...
На расстрелянных,

Как в хмелевом разгуле,
Умудрились казаки
Поплясать
В бешеном галопе
За толпою неповинных,
Чтобы уразднить
Свидетелей толпы.
У подков коней
Казацких
Притупились острые
Шипы.
Под сучками
Александровского сада
Успокоилась с окраин
Голытьба.
Во дворце царя
Ликующих бравада:
Вот и вся
Их мудрая борьба.
Нет не вся!.. –
Кричали по предместью
Фабрик

Люди от станка,
Котла...
И готовились они к возмездью,
И пора возмездия пришла.
С плеч народа
Сброшена
Былого дыба,
Порешили с силой
Батюшку-царя,
И октябрьское
Рабочее возмездье
Воздано ему
За это января.

НАКАНУНЕ МАЯ

Шумом, гамом, писком
Вопит ярь лесная,
Всё кричит о близком
Наступленья мая.

Ждут май обновлённым,
Бурным, светозарным,
А не обыдённым,
Скучно-календарным.

Забурлило снова
Царство стачек, ситца:
К стачке всё готово,
Стачка массе снится...

Что хлестнёт по сытым
По властям, буржуйам,
И по их наймитам,
Сыска подлым шурам.

Те, кого в бараний
Рог буржуй сгибает,
Знают всё зараней,
Что их ожидает.

Власть пошлёт депеши,
Власть нажмёт педали:
«Шлите конных, пеших
Войск. Ткачи восстали».

На восставших звери
Бросят свои крепей.
У ткачей потерей
Могут быть лишь цепи.

И на грёз загады –
Овладеть всем миром
Не создать преграды
Голубым мундирам.

Мира тот владыкой
Будет, кто трудится.

Это в нём велико,
Этим он гордится!..

1905 г.

ЗАБАСТОВКА

Молчат гиганты-корпуса –
Машины не грохочут,
Но смелы, дерзки голоса
Бастующих рабочих.

Нет ни дыминки, спущен пар,
Оставлена работа.
Последним вышел кочегар
Из царства тьмы и пота.

Одна «контора», как раба,
В народе пустозвонит:
Что ничего не даст борьба,
Что капитал всё сломит.

Кричат конторе: – Замолчи,
И жди от нас расчётов...
На площадь!.. – крикнули ткачи,
К управе живоглотов!..

И потекла рабочих рать.
Народ – неузнаваем:
Никто не захотел отстать,
Немой стал краснобаем.

С панелей робкие сошли,
Сомкнулись гнева токи...
Победно новое земли
Шумит в людском потоке.

1906 г.

НА ДРУГОЙ ДЕНЬ ЗАБАСТОВКИ

Ворота фабрик на запоре,
Где почта сторожам сдана,
С утра нет никого в конторе,
И в телефонной тишина.

Нет в сторожах раба-служаки:
В сторожку пробралась мысль,
Что с фабрикантами без драки
Нельзя рабочим обойтись.

А люди города предместий,
С окраин нищеты людской
Потоком гнева, лавой мести
Стекались к думе городской.

Из окон думы именитой
Встречали стачечный напор
С улыбкой злобной, ядовитой
Жандармский ротмистр, прокурор,

Вожди улыбки их видали
В былые арестные дни
И в час, когда ткачи восстали,
Уже не страшны им они.

Когда с трибун, как из бойниц,
Дошли до власти вопли женщин,
То улыбающихся лиц
Среди мундиров стало меньше.

Власть услышала: с картузом
Был брошен лозунг в гущу массы:
«Не может крепким быть стачком,
Когда в стачкоме нету кассы».

Картуз вернулся: медяки
Звучали в нём победной речью,
Рабочих крохи, пятаки,
Властей хлестали, как картечью.

1905 г.

С УВОДИ НА ТАЛКУ *
(Глава из поэмы «Гора»)

«Владельцы фабрик – палачи,
Их слуги – им подмога,
Теснят – терпи, дерут – молчи.
Умри – одна дорога!»

(Из песни восстания силезских ткачей)

Здесь были свои со своими,
Что жили на равном тягле...
В одном мы коптились дыме,
В одном мы варились котле.

И были мы твёрды в бунтарстве,
И знали, куда мы идём;
Как борются в ситцевом царстве,
И кто в этом царстве царём.

* С Уводи на Талку, от реки к речонке – путь ивановских ткачей к первому их Совету рабочих депутатов в 1905 году.

Узнали, как после ристалищ,
Казацких набегов, плетей,
По-новому слово «товарищ»
Запело святого святей.

Мы вышли, ушли из-под пресса,
На что не глядели б глаза.
Мы видели сказочность леса
Из рук голосующих «за».

За мысль, что не знает свободы,
А знает лишь тюрем окно.
За то, чтобы были народы
Все вместе и все заодно.

Забыта мещанская рухлядь, –
Она уходила в быльё.
Мы проклиjali старую Увось,
На Талку сменяли её.

И наши слова доходили
До чуткого слуха, до глаз,

До ран застарелой обиды
Широких обиженных масс.

Ложилось всё это севом
На почву, что взрыта была
Отчаяньем, голодом, гневом
И вечным бесправьем тягла.

На улице имени графа
Восстанье «порядок» крушит,
Валили столбы телеграфа,
Из проволок ткали щиты.

Как строить щиты, баррикады
Учились наши ткачи,
Не знать сожалений, пощады
К тому, что творят богачи.

У фабрик росли бивуаки,
С вокзала тянулся наш брат,
За сотнею сотня – казаки,
За ротую – рота солдат.

Но братья в шинелях брататься
Не думали с нами тогда,
Пришлось в штыки упираться
Защитникам воли, труда.

Мы были едины в Совете,
Сошлись в нём не с разных дорог.
И знали, что голодны дети –
День осени стал недалёк.

Что время о зимних невзгодах,
Подумать, поглубже взглянуть.
Что будет потом на заводах,
Каким будет фабрики путь.

В их стены придётся вернуться
До нового мая утра:
Мы знали – враги не уймутся,
Останется гнёта пора...

Заставит жить снова борьбою,
Мечей мы не вложим в ножны,

Как шли мы стеной лобовою,
Такой и остаться должны.

Не дрогнули мы пред укором,
Когда прогудели гудки,
Широкой волною, напором
В атаку пошли все станки.

Клялись, что себя по-хозяйски
Мы будем вести в корпусах.
Не будем, как раньше, по-рабски
Толкаться в конторских дверях.

На мир, на уступки, на сделки
Не шли мы и впредь не пойдём.
Мы были в большой переделке
И вышли оттуда живьём.

1905 г.

НА МИТИНГЕ

Море голов. Слышен говор задорный,
Грозны с трибун голоса...
Флаги красуются: красный и чёрный.
Это – его паруса.

Чёрный – по павшим героям развёрнут,
Надпись – к возмездью зовёт.
Красный – кричит, что живые попомнят
Тем, кто голодных гнетёт.

В море голов, словно белые чайки,
Женщин белеют платки.
Это – недавние наши хозяйки,
Знавшие только шестки.

Это – величие сил неуёмных,
Мощь рокового огня.
Ринется он и снесёт довольных –
Преграду счастливого дня.

1906 г.

У КРОВАВО-РОКОВОЙ ГРАНИ

Перед подъездом сильных
Стояли мы стеной,
Голодных, нервных, пыльных
Нас окружал конвой.

Казачи-астраханцы
Плясали на конях,
И жутки были танцы
На сытых лошадях.

Под храп коней казацких,
Под цоканье подков,
Мы, дети шумных ткацких,
Шли на огонь штыков.

Мы поднимали руки,
Крича: «Работы! Есть!»
В нас говорили муки,
Поруганная честь.

Мы долю трудовую
Влачили, как позор...
Мы взрыли мостовую,
Чтоб дать врагу отпор.

Мы подходили к грани
Кроваво-роковой.
Но что-то в чёрном стане
Сдержало их разбой.

1906 г.

ТАЛКА

Дунаев говорил. Казалось, с наших плеч
Спадали лямки трудового ига, –
Захватывала нас его простая речь,
Как всем понятная, всем дорогая книга.

Впивались женские глаза в него любовно,
Никто не мог его не одобрять,
И утверждалось всеми поголовно
Решительное – да, врагу не уступать.

И не было прекраснее того большого мая!
Он был под солнцем и в глазах вождей,
Что, на мятеж рабочих поднимая,
Сдвигали их со старых всех путей.

Дивились все, куда девалась поступь рабья,
Когда все, как один, сомкнувшись на врага,
С любимым именем Дунаева Евлампья
Связали нашей Талки берега.

Тот берег, где земля давно не знала леса,
Мы облесили массою людской.
И цвёл в лесу мятеж, и пелась «Марсельеза»,
И отовсюду веяло бунтарскою душой.

ТРИДЦАТИЛЕНИЕ

Наша Талка – малоречье
И Дунаем ей не быть,
Но дунаевские речи
Нам на ней не позабыть.

Пусть речонка маловодна,
Но оставлен ею след,
Где истории угодно
Было вынянчить Совет.

Неказистая собою,
Речка мирно вдаль текла,
И её вода живую
Никогда здесь не слыла.

А рабочий наш, как в сказке,
Стал на ней совсем живой,
Он из ткацких, самотаски *
Вырос в силу, стал герой.

Солидарность спайки братской
Привела его к тому,
Что работая во ткацкой,
Видел в ткацкой он тюрьму.

Общность сил всего чудесней, –
С ней в борьбе всё можно взять;
Про неё сложились песни,
Будут песни вековать.

Наша Талка – малоречье
И Дунаем ей не быть,
Но дунаевские речи
Нам на ней не позабыть!

1935 г.

* Самотаски на ситцевых фабриках были одними из самых антигигиеничных отделений.

Из цикла «ГОДЫ ВОЙНЫ»

ВОЙНА

1

Вопят трензель, балалайки,
Бубен, пьяненький кадык;
Вопит баба в полушалке
На отчаянный язык.

Ну, какой ты ополченец
Тихий, робкий, как овца.
Замордует тебя немец,
Нас оставит без отца.

И к солдатику на шею
Баба бросилась, визжит:
Дай в последние согрею... –
Ещё пуще голосит.

Вопят трензель, балалайки:
Пей, воюй и не тужи!..
А бабёнке в полушалке
Это по сердцу ножи.

2

Пушками землю вспахали
Пушки её взборонили,
Лютое семя из стали
Севом в неё заложили.

Близятся всходы посева
С нивы, вспоённой скорбями:
Надо ждать мести и гнева,
Схваток, расправы с царями.

Тот, кто с богами, с святыми
Начал работу убоя,
Не заработает имя,
Славы в веках как героя.

Тот, кто упрочил войною
Силу свою властелина,
Будет подавлен враждою
Матери павшего сына.

Тот, кто в войне видит средство
Быть повелителем мира,
Памятен будет невестам
Кровью безумного пира.

1915 г.

КРОВАВАЯ ДАТА **(1915 г. – 10 (23) августа)**

1

В этот день на кровавом посту
Слуги царские злобой кипели,
Приложились к ружью, как к кресту,
От безумья и крови пьянели.

В этот день, кто всего претерпел,
Знал и ведал и цепи, и плети,
Видел, как за участие в толпе,
Под обстрелом метались дети.

В этот день рассмотрели одни,
Как ценили другие жизнь нашу,
И поверившим в светлые дни
Подносили кровавую чашу.

В этот день палачи-молодцы
Перевязывать ран не давали...
Горько плакали наши отцы,
Наши матери тяжко рыдали.

2

Лысый командир и прапорщик безусый
В стороне от бойни мировой,
Здесь, в тылу, работали как трусы,
Прятались в щетине штыковой.

На мосту они, Приказном, старом,
Приказали: – Расстреляйте эту мразь!
Чтоб рабочих бунт не сделался пожаром
Пыль взмесите в кровяную грязь!..

Залп толпу, её живую гущу,
Пронизал – и смертью разрядил...
И палач потом ругался в душу,
Что «товарищей» так мало положил.

Но возвратными сказались вражьи пули:
Август выпустил их к ночи на заре,
А вернулись одни из них – в Июле,
Остальные – в буйном Октябре.

1920 г.

Из цикла «КРАСНАЯ ВЕСНА»

КРАСНАЯ ГВОЗДИКА

В царстве красных флагов, радостного крика,
Торжества, что пало зло родной страны,
Расцвела привольно красная гвоздика,
Граждане дождались и её весны.

И она свободна, пали её цепи!
Как идёт цветочек к милому лицу
Грустной дамы в длинном-длинном чёрном крепе,
В трауре по брату, павшему борцу...

Красная гвоздика выросла в подполье,
А теперь на воле – всем родной цветок.
Ей окрепнуть надо, и весны приволье
Даст ей эту силу, даст ей нужный сок.

Красная гвоздика у меня в петлице.
К сединам, быть может, и нейдёт она,
Но уж дни такие, – мы вольны, как птицы,
Всех нас подбодрила красная весна.

Весна 1917 г.

ЗНАМЯ

Оторачивают девки
Красный флаг из кумача;
Завтра будет он на древке
Красным знаменем ткача.

Древко красится парнями
В цвет задорный полотна:
Не боятся, что шпиками
Снег утоптан у окна.

Занавешено морозцем
Боковушное окно.
А кто будет знаменосцем, –
Бросить жребий решено.

1917 г.

КРЕМЕНИ САМОЦВЕТ

Урала самоцветные каменья
И золото для их оправы,
Вы славились всегда как украшенья
Короны царской, скипетра, державы.

Но ты, Урала царство, аметистов,
Совсем потускло в тот великий день,
Когда к тебе пришёл из края коммунистов
Могучий человек-кремень.

Он дошибал врага, что царские устои
Задумал возродить опять.
Его соратники, ткачи-герои,
Умели дома ткать, а в битвах умирать.

Кто этот самоцвет, Урала дивный камень?
Наш незабвенный Фрунзе Михаил,
Разжегший небывалый пламень
Отваги, мужества своих соратных сил.

В таких боях быть могут и камни стёрты...
И вот его уж нет с забралом боевым.
Но в памяти его стальной когорты
Он неизменно цел, он стал для нас живым:

В оправе своего великого народа
Нашёл он место как пример побед...
Какая редкая кремня порода!
Какой был это дивный самоцвет!

1925 г.

НЕВЕСТА

Через силу
Пришла я
К станку
За навой;
Я дремлю:
Не станком
Занята голова,
Я всю ночь не спала,
Шила флаг боевой,
И на нём вышивала
Свободы слова.
Мать вставала
Ко мне,
Не давала огня,
Всё твердила отцу,
Что гублю я
Семью...
Мать не слушал
Отец:
Поощрял он меня,
Улыбаясь,

Глядел
На работу мою.
А потом мать сдалась...
И родные вдвоём
Сторожили меня
У ворот,
У окна...
Говорила я им
За запретным шитьём,
Что объявлена
Будет
Буржуям война,
Что работа мне
Эта
Приданым пойдёт,
Что жених у меня
Из героев герой,
Не к венцу,
А на площадь
Меня поведёт,
Где развёрнут им будет
Наш флаг
Боевой.

ВТОРАЯ БОЛЬШЕВИСТСКАЯ

Давайте
Побеседуем о том,
Как бесится
На Западе
Звериная порода;
А у живущих
Раньше
Спячкой и кнутом,
Стоит
Великолепная погода.
Работают,
Работе не мешает
Пономарь;
Набили по шеям
Поганому буржую;
Перекроили
Старый календарь,
Переключились
На весну вторую.
Вторая,

Большеви́стская весна
Не небылица
Сказочная в лицах,
Она по-новому
Красива и красна,
Без песен о цветах
И птицах.
Она одна
Лишь трудовой размах
С молодняком
Бушующе кипучим;
Где МТС
Хозяйствует в полях –
Запахло крепче прежнего
Горючим.
Пусть каркают враги:
«Война большевикам!»
Пусть мастера,
На жалкие подвохи,
Покажут
Ещё раз
Бесси́лие своей

Изношенной эпохи.
Даёшь войну!..
Коли такой уж век:
На голубую кровь
Ответим кровью
Алой...
Ведь в деле и таком
Наш
Новый человек
Не кое-что,
А человек бывалый!..

К ИТОГАМ ЖИЗНИ

Когда страна цветёт
Она и петь должна,
И радостно поёт
Моей страны весна.

Звучания, цветения
Жизнь от одних корней
И в пору возрождения,
И в пору вешних дней.

Страна поёт о том,
О чём в былом шептали,
И больше под кнутом
Царя совсем молчали.

Сейчас нельзя молчать,
Не петь в такую пору,
Когда всё можно знать,
Жить, подниматься в гору.

Довольно под горой
Я пожил, потомился,
Хоть год – да будет мой,
За жизнь я уцепился.

За семьдесят мне три,
Года – пора итогов,
А у меня внутри
Кипение восторгов.

Я не хочу молчать,
Душою не гореть,
Когда есть что сказать
И есть, о чём мне петь.

1935 г.

КАК МЫ НАЧИНАЛИ ИЗ ЛИТЕРАТУРНЫХ ВОСПОМИНАНИЙ

Родом я крестьянин как со стороны отца – крестьянина Шуйского уезда деревни Кочкарово, так и со стороны матери – крестьянки Костромской губернии села Сидоровского.

Родился в 1862 г. 29 октября в с. Иванове, теперешнем Иванове недавнем Иваново-Вознесенске.

Отец мой по тогдашнему времени был человеком грамотным, служил у мелких местных фабрикантов в качестве ярморочного приказчика и за службу на фабрике у Е. С. Игумнова был награждён на Покровской улице домом, где он и сам пытался открыть «набойное» дело, но неудачно; умер отец 44 лет, оставив меня по четвёртому году.

В семье я был шестым, и к первым заботам моей матери, оставшейся после смерти отца без всяких средств, вскоре прибавилась ещё одна забота – надо было ей отдать меня в школу. Уже шести лет очутился я у дьячка Магницкого, обучавшего меня славянскому языку и чистописанию. В то время такое «духовное» образование считалось первой необходимостью, и моими однокашниками в этой «школе» были дети не только простолудинов, но и крупных торговцев и фабрикантов, как, например, Фокиных, Самохваловых и т. п. К тому же мать моя была старообрядка, и знание духовных книг должна была считать в воспитании своих детей первоочередной задачей. Сама она была женщиной грамотной, помогала мне учить уроки и к довершению всего заставляла меня обращаться с молитвой к покровителю науки святому Науму.

Дьячковское же обучение, в особенности для меня, главным образом сводилось к тому, что я при поступлении к дьячку зимой почему-то всё угорал, а когда пришло лето, то начал помогать его дочери искать непутёвую корову, никогда не приходившую из стада домой. Дочь его была нечто вроде пастуха, а я её подпаска, – носил всегда для заарканивания коровы верёвку и эта же верёвка нередко потом в школе прогуливалась по моей спине, слегка покрытой ситцевой рубашонкой.

Не сладко мне было у дьячка. Только в дни родительских суббот, когда он из церкви приносил целые мешки паточных и медовых пряников, которыми кормил и свою непутёвую корову и оделял своих учеников, ещё было что-то похожее на то, что могло радовать меня и моих однокашников – детей небогатых родителей.

Но из-под верёвки и от пряников мне всё-таки пришлось уйти. Надоело мне таскать огромный псалтирь, чуть не больше самого ученика. Мать вняла моим жалобам на пастушню и освободила меня от дьячка.

Едва научившись читать по-славянски и кое-как писать, я перехожу в «Земское образцовое училище» или, тогда говорили, к «отцу Александру».

Отец Александр Альбицкий как по своей внешности, так и по любовному чисто отеческому отношению к ученикам был весьма похож на Христа, изображение которого было всегда у нас на глазах в той «священной истории», по которой мы тогда обучались. С другой стороны, этот наш учитель никогда не укладывался в наших детских понятиях, когда мы видели его курящим, когда мы знали, что он дома играет на рояли, что он с нами не отказывается играть и в лапту, и в бабки. А когда часто после уроков из «священной истории» он вместе с другими учителями объяснял явления природы при помощи физических приборов, в нас недоумённые вопросы о своём учителе ещё больше заострялись и из школы мы уходили с душой, полной брожения, волнуяще настроенными.

В эти же годы здесь много говорят о Нечаеве – ивановце.¹ Многим ивановцам стало известно и слово «нигилист», и мы, подростки, в нём разбираемся и задаём себе вопросы: не обучает ли и нас в школе отец Александр нигилизму? Особенно эта мысль нас волновала после того, как нашего отца Александра отсюда перевели в одну из петербургских тюремных церквей, будто бы за его близость к Нечаеву.

Моё трёхлетнее пребывание в этой земской школе было одной из лучших страниц моего детства, несмотря на то, что всё, чему нас учили в этой школе, было далеко от жизни. Жизнь нас после школы принимала не по-книжному, по головке не гладила, вместо пушкинских стихов, ставших школьной песенкой.

Птичка божия не знает
Ни заботы, ни труда,

заставляла нас петь иные песни – песни непосильного ярма, невероятно длинного рабочего дня.

Школа учёбы и школа жизни рабочего между собой ничем не были связаны. Когда я был по желанию матери отдан в ученики в фабричную граверную мастерскую бр. Борисовых, то в первый же день меня там встретили вот чем: придя в мастерскую, я не успел снять свой картуз, как меня тут же окружила целая ватага будущих моих учителей; они начали меня обнюхивать и я услышал реплику: «Пахнет». В это время один бросается к открытой форточке и заявляет, что и здесь «пахнет», но пахнет только не с улицы. А другой подвергает меня испытанию, твёрд ли я в своём характере, ударяет меня по голове костяшками сложенного кулака и спрашивает: «Больно ли?»

Я готов был расплакаться от боли, но сдержался и заплакал только тогда, когда по дороге домой узнал, что слово «пахнет» обязывает меня принести своим учителям могарычный целковый. Отнять у матери послед-

нее? Но, как на грех, этого целкового у матери не оказалось, и на другой день я на фабрику пошёл чуть ли не со слезами, боясь новых колотушек и нового обнюхивания.

Так меня встретила фабрика после того, как я уже был знаком с книгой, с театром, совершал со своими сверстниками набег в лес на грибы, на ягоды и с ребятами же занимался и «вольным» трудом: собирал битое стекло, кости, тряпьё и менял их на пряники, которыми меня кормил когда-то первый мой учитель дьячок.

Мне, не умеющему и неспособному рисовать (что значительно усложняет учёбу), ремесло гравера давалось плохо, с большим трудом, и я вышел в мастера среднего калибра. Такая роль на фабрике мне улыбалась мало. Но всё же к этому я как-то приспособился и тянул фабричную ляжку в течение более трёх десятков лет.

Фабричная обстановка моих ранних лет далеко не гармонировала даже с моей недостаточной домашней обстановкой. Дома у меня всегда можно было найти книгу, я впервые в семье услышал о деле Нечаева – читали о нём у нас вслух по «Современным известиям» Гилярова-Платонова², что разжигало во мне нелюбовь к фабрике ещё больше. Я старался от фабрики уйти, поддавался соблазнам скитальческой жизни, готов был разъезжать с труппой актёров, хотя бы в качестве ламповщика, мечтал о роли ярмарочного раёшника, готовился к этому, составляя к будущим своим картинам прибауточный текст, что может быть и было первым толчком к моей не совсем удачной литературной деятельности.

К мечтам о скитальчестве прислушивались и мои товарищи, – я около себя создавал протестантов против фабрики. И вот мы, более решительные, втроём, с котомками за плечами и с посохами в руках, очутились на извилистых просёлках деревни и на прямых, как стрела, аракчеевских сажёных дорогах, соединяющих города и сёла тогда ещё богомольной, но уже идущей к новой жизни России.

В дороге нам всё-таки пришлось между собой размолвиться, и домой возвращались все трое поодиночке, пройдя пешком более чем по две тысячи вёрст.

Чтобы себя легализовать, мы путешествовали под видом странников-богомольцев, перебивали во всех крупных монастырях, что на мне, тогда ещё человеке религиозном, отозвалось значительным отходом от церкви, большим душевным надломом. И я, бегущий от фабрики, думал, что жизнь деревень изобилует многими хорошими сторонами жизни, что фабрику на деревню можно променять, но за это время пешего хождения я пришёл к убеждению, что везде живётся не сладко, что жалобы рабочих и крестьян на свои житейские тяготы одинаковы, горечь жизни пьют они из одного ковша, черпают эту горечь из одного ямника.

Это моё путешествие относится к 1885 г., в августе которого я вернулся домой, а в сентябре этого же года как отголосок знаменитой орехово-зубовской³ забастовки забурлил и наш город многотысячной бунтующей массой рабочих.

Я как безработный тоже вмешался в эту рабочую массу. Не наговорившись досыта во время путешествия с крестьянами, конечно я не молчал с рабочими. Пусть это была не агитация как посланника какой-нибудь организации, всё же голос мой здесь звучал в унисон с теми голосами бунтующей массы, у которой со мной был один язык протеста, на котором я ещё так недавно говорил со всеми товарищами по путешествию. Ведь и всё-то это движение проходило под влиянием прямых действий одиночек, неорганизованно, но всё же под знаком настоящего рабочего движения, к которому пришлось примкнуть и мне.

Но такое моё одиночество, настроенное на общественный лад, продолжалось недолго. На нашей «думе» – горе Покровской,⁴ в этом главном штабе всех мятущихся ивановцев, ищущих и алчущих душ, где можно было всегда разговориться с людьми, совсем незнакомыми друг с другом, осенью

того же 1885 г. я знакомлюсь с Иваном Осиповичем Слуховским,⁵ в присутствии А. А. Кондратьева (старшего из двух братьев революционеров) держу экзамен-исповедь по религиозным и политическим убеждениям.

Мои экзаменаторы-духовники были со средним образованием, значительно интеллигентнее меня, но всё же я после этого экзамена становлюсь близким человеком к их организованному в два человека кружковому ядру революционной мысли, конспиративных товарищеских отношений и самых крайних радикальных взглядов на литературу.

Кружок наш,⁶ в смысле его численного роста, развивался медленно, но мы так или иначе вели идейную пропаганду, и к 1890 г., когда мы здесь были отысканы народовольцем Спасским-Сабунаевым, объезжавшим в то время с организаторской целью Поволжье, мы своих единомышленников насчитывали десятками. Мы имели большую связь с Шуей, а последняя связывалась и с Владимиром, – члены нашего кружка были и в Шуе и в некоторых деревнях.

Помимо нашего подполья, в это время здесь существовало ещё и литературное подполье, в котором группа рабочих, служащих и учащихся издавала рукописный журнал «Первые проблески», куда и я был приглашён. В качестве «литераторов» в этой группе были и другие заинтересованные члены нашего кружка. Решено было некоторую часть этих «литераторов» использовать, вовлечь в нашу работу, что и было сделано, и наши ряды ими были значительно пополнены. Об этом литературном подполье и будет идти главным образом речь в дальнейшем.

II

В начале 90-х годов, в один прекрасный день, когда на обывательском горизонте ничего не предвещало и вековая тишина казалась непоколебимой, совсем неожиданно произошли в нашем городе аресты и обыски, да ещё днём и у всех на глазах. Поднялась обычная шумиха, давшая вообра-

жению обывателя обильную пищу. На улицах появилась «чёрная карета», число арестованных было значительно преувеличено, многие из нас переименованы в студентов.

Жандармские визиты нам были нанесены по доносу некоего Соколова, человека, видимо плохо разбиравшегося в том, чем мы в своём кружке занимались. Благодаря этому часть подвергнувшихся в те дни обыску была мало или совсем непричастна к нашему кружку. За счёт этих людей и нам пришлось отделаться значительно легче, ибо жандармы так и не установили того, что тогда почиталось за государственную опасность.

В то время мы только поднимали целину никем не затронутых возможностей для трудовой и учащейся молодёжи, способной жить не по-отцовски, а по-новому, более самостоятельно и свободно. Мы до некоторой степени явились прологом для ивановского совсем нового десятилетия с его новыми хозяйственными формами, что потом создало и более широкую арену борьбы для рабочего класса. Это был первопуток-экскурс нашей критической мысли в область законом запрещённого, в область бытового консерватизма и религиозного окостенения.

Да и жандармы того времени, в особенности рядовые церберы, не имея большой практики, шли тоже первопутком в своей противной деятельности: в чтении чужих душ они были ещё крайне малограмотны.

Рядовой жандарм Калинин, роясь при первом обыске в моих бумагах, набрёл на моё стихотворение «Дуб», ухватился за него, и, передавая его своему старшему начальству, сказал: «Тут что-то есть». А стихотворение может быть и было навеяно какой-нибудь человеческой потерей, но всё оно было только стихотворением пейзажным, начиналось так:

Упал вот и ты под грозою.
Не выдержал бури, мой дуб...

Должно быть слова «гроза» и «буря» показались опасными жандарму Калинину. Но оттого, что в простом изложении человеческой мысли ищут опасных слов, я почувствовал только сладость запретного плода, гордость от сознания, что я мыслю, и в этом я видел первое своё приобщение к делу своих учителей – близких мне писателей.

Я был не первый и не последний из зачинателей пролетарской поэзии и не у одного у меня были читателями жандармы. После них мне всегда приходилось и за себя и за других говорить, что мы:

Слишком ранние предтечи
Слишком медленной весны.

Такая медленная, затяжная весна меня не торопила писать, а заставляла оглядываться, прислушиваться к ночным звукам гонцов от приказного порядка. Писал я мало, а печатался ещё меньше: со столичными издателями ничего не выходило, а провинциальные были наперечёт, и моя библиография ограничивается только последними; похожим на профессионала-писателя я стал только после Октября.

Возможно, что на моём творчестве лежит печать провинциализма. Я это и сам чувствую и объясняю это тем, что редакторы провинциальных изданий, где я печатался, гонорара не платили, были ко мне нетребовательны, от них я только и слышал, что их издание на ладан дышит. Приводилось работать на «умирающих», ухаживать за «больными». И нередко над «умирающим» стоял некто в синем, чьи цензорские показания не шли дальше предугадывания – «тут что-то есть»; редакторам было не до упора на пролетарскую литературу, они приглашали с собой мыслить заодно: сейчас нам «не до жиру, быть бы живу». Приходилось переходить на рукописную литературу, уходить в подполье. Положение было куда лучше, когда наш брат попадал в тюрьму, где обстановка располагала к литературным занятиям, ибо за них отвечать особо не

приходилось. Тюремным сидельцам казалось, что тюремные стены от этого раздвигались, они казались сами себе людьми, через это они как бы договаривались с тем, что находилось вне тюремных стен.

Роман Семенчиков, ивановский рабочий поэт, совсем молодым заморённый в Сибири, вот как определил призвание пролетарского поэта:

В руки я лиру взял, да не звучную,
Я на ниву вступил, да не тучную.
Я вам песни спою не небесные,
Сказки вам расскажу не чудесные,
Не скажу я привет сердцу праздному,
Не скажу похвалы безобразному,
Нет, я жизни хочу для себя и других,
Сколько силы найду, послужу я для них.
Буду петь до конца о великом труде,
Буду рваться всегда помогать их нужде.

Биограф Р. Семенчикова, А. Н. Рябинин, одно из своих стихотворений заканчивает словами:

Великое было, прекрасное будет...

Вслед за Р. Семенчиковым, чьё призвание как пролетарского поэта определялось в служении своему классу, борьбе за него, шли и другие, чьё участие в деле революции не прекращалось и во время тюремных отсидок. Здесь не было отчаяния среди обречённых, а горела в них живая, потенциальная сила, мудрость рабочего класса, выдвигаемого им актива.

Павел Постышев⁸ и Павел Симонов,⁹ оба ивановцы, политкаторжане Владимирского централа, были втиснуты в камеру уголовных. В заботах друг о друге, чтобы не быть обиженными соседями по камере, они ухит-

рились среди классического мата уголовных писать коллективно стихи, как бы ими выветривая камеру от параши, и их объединение на этом сказывалось в таких словах:

Хочется видеть, как сосны и ели
Дремлют в родимом краю,
Слушать в лесу соловьиные трели,
Хочется петь самому.
Петь, не смолкая, про радость и горе,
Сбросить оковы и петь.
Петь про любовь, про широкое море,
Волнами моря кипеть.

У истоков пролетарской литературы нашего Иванова всегда наблюдалось два течения: одно шло по линии общественно-революционной, а другое по линии общественно-сатирической. У первого течения стиль был тюремно-нелегальный, а у второго – балагурно-обличительный, но шли они от одного источника, создавались на почве постоянных антагонизмов. Первое зарождалось в нелегальных рабочих кружках, в классовой непримиримости к хозяевам положения, к их системе выжимания пота. Второе течение было оформлением фабрично-заводского балагурства, за которым коротали и которым подгоняли время тогдашнего двенадцати и даже четырнадцатичасового рабочего дня. В этом течении антагонизмы были другого порядка: неприязнь к чужакам-натёкам, в сущности выручавшим городское коренное население, и неприязнь пришельцев к старому городскому населению, особенно той его части, которая была в плену «древнего благочестия» со всеми особенностями старобрядческого быта и укоренившихся традиций старого города.

В погоне за высмеиванием друг друга, когда какая-нибудь шутка нуждалась в литературном оформлении, победа оказывалась на сторо-

не пришлого населения. На это у нас было два мастера: И. Н. Веселовский и Трифонов-Берендей. Оба граверы, оба были весьма популярны в граверных мастерских и вне их; их рукописи усердно размножались, и в устной передаче их стихи кое-где сохранились и до сих пор. Они производили значительный шум, но были поверхностны, в них часто не было начал объединения и сплочения рабочего класса, – наоборот, они служили его расщеплению и помогали внутриклассовой борьбе.

Веселовский иногда очень метко высмеивал старообрядческих попов, на этом он специализировался. У Трифопова тематика была значительно шире, но и у того, и у другого смех был часто ради смеха, ради сатирического заужения, в угоду нетребовательным литературным вкусам, идейного безразличия. Это чаще всего была любительская иконография без всякой художественной ретуши характерных уродливых черт мещанина-обывателя. Лично я им на это указывал, но они не знали и не хотели знать другого критерия, кроме оценок своего брата-читателя мастерового. Веселовский о нём говорил:

В «походячей» серой паре
Он простой мастеровой.

Работал я одно время на фабрике Фокиных, считавшихся за людей богомольных и добрых. Праздничных дней у них было больше всех, немало было и «родительских суббот» и «великих пятниц»; из-за станка они гоняли нас на поминальные обеды и за обедами часто оделяли булками в память их отцов и дедов. Когда на их фабрике появилась техническая интеллигенция и на её долю стала перепадать прибыль предприятия каждого «выработанного куска», ей начали приплачивать; выдавали техническим работникам и на большие праздники «наградные», что им очень понравилось, и они начали говорить об упразднении целого ряда праздников. Фокины на это поддались, целый ряд святых был «рассчитан», что я и от-

метил в одном из первых своих стихотворений:

Добрались и до святых
Фокины усердные.
Рассчитали они их,
Выдали все медные.
Было сказано купцом:
Дело не в неверии,
А в расчёте цифровом,
В главной бухгалтерии.

Ни к чему-де божий чин
Славного и вечного,
Раз нет веры у машин,
То гулять им нечего.
Покровителей голандр
В святцах не отыщется,
Скажем, Невский Александр
В цеховых не числится.

Наш город по числу выписываемых в то время газет и журналов, а также по количеству библиотек и читален был совсем некультурным. Чувствовался определённый литературный голод. На почве этого голода в конце 80-х годов в небольшой группе учащейся и рабочей молодёжи возникла мысль издавать рукописный журнал, и он стал выходить под названием «Первые проблески». Инициатор этого дела, ученик реального училища, Е. М. Крестов, в своей библиографической заметке о журнале даёт ему такую характеристику: «Журнал претендовал на звание литературно-общественного органа с обязательной передовой статьёй, а дальше шли стихи, проза, карикатуры, все отделы, которые своим остриём были направлены на мещанский уклад жизни, на его уродливые формы, на отсутствие в нём культурной обстановки». Одна из передовых статей журнала давала основательный анализ бюджета рабочего с неумеренными расходами на выпивку в «дачки», на бешеные и некультурные расходы на нашей ярмарке. Статья заканчивалась выкриком: «Когда же придёт настоящий день?» Тот день, когда народ

...Не Блюхера
И не Милорда глупого –

Белинского и Гоголя
С базара понесёт.

Журнала «Первые проблески» вышло три номера. В последнем номере в качестве литературного «советника» принимал участие и я; туда я был введён Е. М. Крестовым. Но тут же вскоре мои советы приняли характер разрушительный, и так как этот журнал был мне не по душе, я это литературное гнездо всё-таки решил разорить. Связанный с И. О. Слуховским другими интересами общественного порядка, среди сотрудников «Первых проблесков» я набрёл на нескольких способных юношей. Задуманный тогда Слуховским кружок саморазвития, программа которого была значительно шире программы «Первых проблесков», очень нуждался в работоспособных людях. Для объединения обеих групп была устроена встреча. Встреча происходила в квартире Слуховского. Когда было указано на конспиративный характер встречи, на то, что и нам нужен «настоящий день», о котором наши новые знакомые писали в своём журнале, конспиративность их не смутила. Часть их в кружке Слуховского осела, осевшие прошли некоторого рода отбор, испытание по признаку их участия в обсуждении вопросов реалистического мировоззрения, общественной этики, искусства конспирации, критики художественной литературы и целого ряда других вопросов. Новобранцев из «Проблесков», наших прозелитов, широко и довольно обстоятельно обслуживала редкая по тогдашнему времени библиотечка Слуховского, где имелись: Лассаль, Чернышевский, Добролюбов, Писарев, Тимирязев, Ренан, Джон-Стюарт Милль и др. Книги эти Слуховским охранялись самым тщательным образом, выдавались они на руки всегда с наказом оберегать их от домашних. Книга в то время в большинстве мещанских семей почиталась чуть ли не грехом. Я знал случаи, когда только за одни книги отцы преследовали своих детей, ссылая их, как мы тогда говорили, в места «не столь отдалённые» – на

задний двор, в бани. В банях и происходили первые наши сходки. На этих сходках мы чувствовали себя не только безбожниками, но и заговорщиками, где нас тянуло к сочинительству; «сочинителями» нас звали и за то, что мы чаще других появлялись на улице с книгами в руках.

Перекочевавшие к нам из «Проблесков» сотрудники нашли применение своим способностям в составлении рефератов по экономическим вопросам: к числу практической учёбы в кружке надо отнести и обсуждение вопросов по художественной литературе. Слуховский знал много нелегальных стихотворений, особенно хорошо он читал стихотворение Ольхина «У гроба» и стихотворение «Бог» Беранже. Не изгонялась у нас и хорошая чистая лирика. Из этого цикла хорошо сохранилось в памяти стихотворение с началом и концом из таких двух стихов:

Как хороша была та ночка голубая,
Как ласкова была та бледная луна.

Темы тогдашних моих стихотворений были связаны с трудовыми процессами; на эти темы навёл меня Слуховский; он хотел во мне видеть поэта фабричных корпусов и ремесленных мастерских. В кружковых занятиях по вопросам этики нами было усвоено положение Джона-Стюарта Милля: «нравственно только то, что полезно». Защищая это положение мы защищали тогда и господствующую так называемую «теорию малых дел», новых вех, практику которых красочно и убедительно разоблачал в своих «Очерках русской жизни» Н. В. Шелгунов, создавший своими очерками около журнала «Русская мысль» большую читательскую аудиторию.

В кружке нашем имелись тенденциозные романы: «Что делать» Чернышевского, «Шаг за шагом» Омулевского, «Николай Негорев» Куцевского, «Хроника села Смурова» Засодимского; их мы выдвигали как литературу полезную, литературу первой очереди. Эти романы разрешали и мои литературные вопросы: о чём писать и что наиболее существенно важно в

содержании литературно-художественных произведений.

Практическое осуществление «теории малых дел» шло и дальше нашей книжной пропаганды; мы начали измерять эту теорию практикой местных благотворителей и благотворительниц. Мы защищали гимназисток «кухаркиных детей», девушек, живущих улицей, актрис, обиженных антрепренёром, рабочих и работниц, обманутых фабричной инспекцией. Писали по этому поводу письма именитым адресатам, а когда на эти письма не отвечали, добивались с ними непосредственных встреч, на что был хороший мастер сам главарь нашего кружка. Встречали его наши общественники иногда очень любезно, на словах не отказывались от помощи, а провожали, как мы тогда догадывались, конечно улыбками, пожатием плеч, вздохами облегчения, что наконец-то они расстались с непрошеным гостем, с небывалым для их обстановки визитом.

Бесполезное писание писем, остававшихся чаще всего без ответа, навело нас на мысль, что для таких дел пора нашему городу иметь газету, от рукописных «Первых проблесков» перейти к какому-нибудь печатному «Русскому Манчестеру».

С наименованием предполагаемой газеты «Русский Манчестер» Слуховский отправился к предполагаемому её соиздателю Н. А. Ясюнинскому, кохомускому фабриканту, инженеру-технологу, знакомому нам по любительскому театру. Слуховский от Ясюнинского вернулся с такой обещанной суммой денег, что мы как-то этому и не верили. Денежную сумму в 10 тысяч рублей мы едва-едва выговаривали и тут же подумали, да не красивый ли это только жест – ведь Ясюнинский прекрасно знает, но скромно умалчивает, что газета в Иванове не осуществима, что это мечта, утопия. Так и случилось. Когда Слуховский после обещания Ясюнинского дать денег для газеты начал искать типографию и остановился на типографии Александровских, то тут и была погребена наша газетная литературная мечта. Александровские до нас сами со-

бирались выпускать газету, но в этом со стороны Главного управления по делам печати им было отказано. А один чиновник из Петербурга им между прочим писал, что обратиться они непосредственно с этим делом к нему, то через взятку ещё кое-что можно будет сделать. В указанном комитете печати существовал такой порядок: когда какому-нибудь провинциальному городу первоначально отказывали в газете, то все последующие подобные ходатайства отклонялись механически, без всякого их рассмотрения.

III

Вспыхнувшая мечта о газете погасла, и для нашей практики «малых дел» почвы в этой области не оказалось; тогда мы эту практику постановили перенести из города в деревню, сесть на землю и своим намеченным опытным садово-огородным хозяйством помогать деревенскому зерновому хозяйству.

Для осуществления этого у нас было увлечение, молодость, совсем незначительные средства и кое-какая специальная садово-огородная литература. Место для огорода мы избрали под Кинешмой, в деревне Малое Жажлево. Отправились туда троём: В. Н. Ларионов, И. О. Слуховский и я. Тяжёлая огородная работа ни у кого из нас не отбивала потребности сближения с деревенским населением и с рабочими Поволжья, к которым мы ходили в свободное время на приработки грузить дрова.

Среди местного населения изредка встречались бывшие матросы военного и гражданского дальнего плавания, побывавшие в кругосветном путешествии; с них-то, как людей более культурных, мы и начинали свою хозяйственную пропаганду, подсовывали им, помимо специальной литературы, Засодимского «Хронику села Смурова», стихи Некрасова. От своих читателей, новых знакомых по огородному хозяйству, нам приходилось

слышать, как надо понимать такие стихи Некрасова:

Средь мира дальнего
Для сердца вольного
Есть два пути:
Одна, просторная,
Дорога торная,
Страстей раба,
Другая, тесная,
Дорога честная, –
По ней идут
Лишь души сильные,
Любвеобильные,
На бой, на труд.
Иди к обиженным,
Иди к униженным,
По их стопам.
Где трудно дышится,
Где горе слышится –
Будь первым там.

Разговоры об этом нам, конечно, стали казаться наводящими на мысль, что наши новые знакомые догадываются, зачем мы приехали к ним в Жажлево. То же самое слышалось и в конце наших бесед. А беседы наши стали заканчиваться с их стороны фразами и, как нам казалось, не случайными:

– А в деревне у нас опять толкался урядник...

Мы были на подозрении. Летом 1890 г. нашим кружком в Иванове была распространена прокламация, которая у ивановской полиции и жан-

дармерии стала большой занозой, беспокоившей их. Посещения Жажлева урядником мы начали считать подозрительными, нам они казались нащупыванием следов виновников распространения прокламации. Пришлось насторожиться, задуматься над возможностью ареста. Наш товарищ Ларионов был семейным, имел детей, семья при его аресте могла очутиться в беспомощном состоянии, а налицо была хозяйственная неудача: огород наш хорошего урожая не обещал. Решено было его ликвидировать с таким расчётом: арендуемая нами земля под огородом принадлежала родственнику Ларионова, которому в случае того или иного краха и решено было её вернуть. Я со Слуховским вернулся в Иваново, тем более, что там без нас дело начало расползаться, кружок наш стал хиреть.

Наши попытки осесть на земле были похожи по форме на существовавшие в то время «культурные скиты», называвшиеся «толстовскими колониями». На самом деле «толстовцами» мы никогда не были, толстовская проповедь тех времён нашему кружку была чужда. Мы жили в городе рабочих, рабочие и были в нашем кружке. В природе такого положения вещей несомненно должны быть заложены элементы борьбы, и эта борьба за освобождение рабочего класса нами мыслилась и признавалась. Пусть её практика была незначительна, но сказать, что её совсем не было, – никак нельзя. Мы со своим реалистическим, материалистическим мировоззрением, чуждым всякой мистики, не могли считать себя культурниками-книжниками.

Во временном нашем увлечении практикой теории «малых дел» мы, как нам думалось, встречаемся с реальной возможностью, где слово с делом не должно расходиться и при полном их взаимном соответствии должны дать какие-то ощутительные результаты. Мы что-то делали, чему-то учились, но вскоре убедились в том, что дамы-филантропки, к которым мы обращались, скорее наши враги, чем друзья. А где враги – там должна быть и борьба. В деревне мы встретили другую картину. Практика «ма-

лых дел» тургеневского Соломина из «Нови», его проповедь, как и чем можно помочь деревне, оказалась несостоятельной. Соломинская туалетная установка, – если встретишь в деревне непричёсанного и неумытого мальчика-заморыша, то причеши и умой его, и это будет большим культурным служением народу, – в нашей практике «малых дел» не нашла реального отражения. Когда мы пригляделись к деревне, то она нам со всеми её потрохами показалась неумытой, непричёсанной. Деревня была нища и бестолкова, прикрашивание её по-соломински оказалось бесцельным прекрасодушием. Без массовой встряски её, без коренной ломки в ней ничего не поделаешь. На этом мы строили свои взгляды. Деревня и город у нас становились безраздельными, заботы о них – объединёнными, чему способствовало и то положение, что в наших краях чистокровного пролетария не было, а была разнородность рабочего и крестьянина, в силу чего и наша рабочая поэзия была часто поэзией переклички города с деревней или наоборот – деревни с городом. Кружок наш был хорошо законспирирован, но его бытие как-то просочилось наружу, докатилось до предательского слуха некоего Соколова. Ожидаемая нами встреча с жандармами стала фактом. В городе она наделала много шума, а в Малом Жажлеве шума больше не было, хотя жандармы и там были. Появление жандармов заставило местное население лишний раз почесать в затылке, богомольных баб пошущукаться, а старика, владельца земли под огородом, запугало так, что он нашествию полиции не выдержал: взял да и помер.

Следствие по нашему делу было непродолжительным. Несколько дольше оно задержалось на нашей прокламации, которую жандармам приписать нам никак не удалось. Искусство держаться на допросах нами было воспринято; на этом мы тренировались в конце каждой нашей сходки. И таким образом выдержали перед жандармами полный экзамен. К нашим личным показаниям со стороны Слуховского прибавлена была дополнительная характеристика.

Мне он приписал знание Пушкина, выдал меня за знатока его поэзии. Но это не совсем верно: мне был ближе и созвучнее Некрасов. И после того как мне были возвращены жандармами книги и рукописи, я кое-чего из последних недосчитался; таким образом в жандармские архивы я внёс свои первые, якобы нелегальные, стихи. Позднее я попытался возобновить их, и память мне в этом не отказала.

Нашествие жандармов определило наш удельный вес. Этот критерий стойкости человеческого духа нас расклинил, мы разошлись в разные стороны: от начатой революционной работы, хотя и робкой, одни отошли совсем, другие временно, а третьи – исключительно рабочая часть – тут же перекочевали в новый рабочий кружок Ф. А. Кондратьева, уже с ярко выраженной марксистской окраской.

Грубой и подлой измены идеалам нашей юности ни у кого из нас не было. А культурная зарядка этих лет нам привилась необычайно крепко. Знания, идейная художественная литература, во многих случаях общественная культурная работа стали нашим инвентарём в дальнейшем жизненном пути, постоянной перекличкой с незабываемым светлым прошлым.

Время шло. Город культурно не рос. Нас опережали города-соседи.

Ярославлем в Иванове было открыто отделение его газеты «Северный край»,¹⁰ куда я в качестве подписчика пришёл чуть ли не первым. Заведующему отделением я должно быть показался пишущим, и он мне предложил корреспондировать в газету. Я ему предложил стихи, – он и от этого не отказался. Стихи в газету были посланы, началось обычное тревожное ожидание ответа. Несколько редакторских ответов от столичных журналов я уже имел, но только через почтовый ящик. Почтовые ящики я называл сухой гильотиной глумления. Я любил их читать, они меня кое-чему научили, но я всегда думал, что в них любили резать головы больше провинции, чем столице; эти операции выпадали и на мою голову. А потом я и сам очутился в столице, работал на одной из фабрик в тогдашнем Петербурге, где попы-

тался было связаться с журналом «Живописное обозрение», но и тут попал под нож сухой гильотины. В то же время я начал переписываться с Валерием Яковлевичем Брюсовым, решил через него проверить свои поэтические способности. Брюсов тогда мои стихи читал своим соратникам. В одном из ответов на мои письма он привёл мнение о моих стихах тогда ему близкого поэта Александра Курсинского, что человек, написавший такие два стиха:

Ночь – старуха богомольная –
Миллион лампад затеплила,

должен безусловно почитаться как поэт. После этого я начал считать себя «признанным», хотя оценка тогдашних моих стихов исходила от утончённых эстетов.

В «Северном крае» я не встретил такого сурового приёма и к моей тематике. И я был очень польщён, когда в нём появилось моё первое печатное стихотворение.

НОЧЬЮ

Кашлем, плачем, стоном,
Кто во что горазд.
Будят мать в постели
В неурочный час.
Грудь нужна ребёнку,
А другому пить,
Просит батька хворый
Трубку раскурить.
Всем и всё достала
Мученица-мать
И малютку в люльке
Начала качать.

Застучали в двери.
Проклятая ночь!
Из пивных, кофеен
Воротилась дочь.
Будут разговоры:
Дочка под хмельком,
Дочка не уступит
Матери ни в чём.
Выскажет угрозы,
Что совсем уйдёт...
И у ног родимой
Вся в слезах уснёт.

Печатались в этой газете и другие мои стихи, по поводу которых никакой переписки со мной не велось и редакционных поправок в них я никогда не встречал. Уже позднее я узнал, что рукописи стихов в этой редакции складывались на одном из подоконников. Они были запасным подвѣрсточным фондом, и хозяином их был иногда метранпаж; когда он нуждался в подвѣрсточном материале, то в эти стихотворные недра запускал свои руки и извлекал оттуда то, что ему подходило по количеству строк. Прозе эта газета уделяла большое внимание, в ней хорошо был поставлен «Областной отдел». Если писать историю рабселькоровского движения, то надо сказать, что его истоки надо искать именно в газете «Северный край».

С поэтами, выходцами из рабочей среды, в смысле их учёбы и воспитания, поступали не лучше провинциальных газет и столичные толстые журналы.

В декабрьской книжке «Русского богатства» за 1900 г. была напечатана статья В. Додонова «Русский Манчестер». Один из разделов этой статьи имел громкое название «Рабочий поэт».

Рабочему поэту Ивану Фролову, о котором повествует Додонов, было уже 40 лет, а он и в таком возрасте продолжал писать стихи, нигде их не печатая. Фролов работал в лаборатории ситцевой фабрики, жил в деревне, не бросая сельского хозяйства... Фролову как человеку и поэту Додонов дал такую характеристику: «В духовном отношении он стоит неизмеримо выше окружающей среды. Ему свойственно тонкое понимание природы. Как видно, после гула и смрада фабрики природа каждый раз с новой силой действует на душу фабричного».

В самом же стиле стихов Фролова нет ничего такого, что бы возвышало его над такими поэтами, как ниже указанные Веселовский и Трифонов. Поза ни одним краешком не захватила бурная волна стачечного движения 90-х годов, его имя не упоминается среди вождей этого движения и рядовых его членов. За ним остаётся несомненное поэтическое дарование, но

это дарование вне идейной тематики, не оваяно оно переживаниями не только передовых рабочих, но и всей рабочей массы в целом, в те годы начавшей показывать себя в кровавой борьбе за свои рабочие интересы. В стихах Фролова нет и той культуры стиха, которая была например в стихах Семенчикова.

Из посещения «Русского Манчестера» Додонов сделал выводы, что фабрика четвёртому поколению своих «учеников» ничего не дала, все культурные блага – медицинская помощь, библиотеки, разумные развлечения и пр., – пришли извне, за счёт земства, города и частной благотворительности, и поэт Фролов поднялся к свету культуры не от фабрики, а от посторонних влияний во время отбывания им военной повинности в одном из больших городов Западного края. Неужели же В. Додонову не было известно, как в те годы всякая самодеятельность рабочих в области культуры преследовалась и каралась тюрьмами и ссылками?

В дальнейшем поэт Фролов где-то затерялся. Так пропадали ни за что и другие даровитые выходцы из рабочей среды, когда их под своё покровительство брали Додоновы. На статью Додонова в том же «Русском богатстве» дал надлежащую отповедь С. П. Шестернин.¹¹

В защиту иваново-вознесенских рабочих Додонову была дана отповедь в заграничном приложении к «Искре» № 9 за 1901 г.

Говоря о библиотечных читателях, Додонов подписался под тем, что «нет ни одной книги на-дому в целом районе с 20 000 жителей». Возможно, что «Русского богатства» в домах этих тысяч жителей не было. Этот журнал ещё во время первых марксистских кружков считался чуждым рабочим, ибо для него фабрика была не культурным фактором, а рассадником пьянства и невежества, язвой народа. Отповедь Додонову «Искра» заканчивает тем, что «из Иваново-Вознесенска высылают рабочих не менее интеллигентных, чем Иван Фролов, хотя может быть они и не занимаются стихами. Выходит даже некоторая аналогия с университетом; как универ-

ситет выпускает и высылает часть «света» и «культуры» в разные уголки России, так точно и Иваново-Вознесенск рассылает со своими рабочими «свет культуры» во все концы России».

Отповеди С. П. Шестернина и И. В. Бабушкина из «Искры» можно дополнить ещё приподнятием редакционной завесы «Русского богатства» – сказать о том, как додоновская статья редактировалась.

В одном из писем В. Г. Короленко к Н. К. Михайловскому¹² есть такое место: «б) статья Додонова «Русский Манчестер». Об этом уже были разговоры. Н. Ф. Анненский возражал против цифр. Я написал автору, что можно поместить лишь при сильных сокращениях. Он ответил что если «Р. Б.» поместит лишь часть статьи, – он всё-таки предпочитает напечатать у нас, чем всю в другом журнале. Я целиком выкинул почти две главы, цифры сократил тоже довольно радикально и теперь, полагаю, статья довольно пригодна. Касается вопроса интересного, несколько легковесна, но – довольно жива» и т. д.

Хорошо признание, что статья «легковесна», но печатать всё-таки надо как документ антимарксистский, опорочивающий фабрику, опровергающий утверждение, что лучшим проводником всякой культуры является фабрика, а тут они поймали с поличным и на таком крупном участке как «Русский Манчестер». Неизвестно, о чём главы и какие цифры были удалены из статьи Додонова, и называть её после такой редакционной трёпки статьёй «довольно живой» пожалуй неудобно, она, вернее, была не живой в обработке «Русского богатства», а угодной только народническим тенденциям.

Нам пришлось найти и фроловский архив, оказавшийся в Ивановском облархиве. В неопубликованных стихах Фролова есть указание на то, что он на военной службе был ротным фельдшером и за какую-то особую помощь одному из солдат посажен в карцер. Оказывается, и в Западном крае солдатская казарма была только казармой и говорить о ней как о культурной школе нельзя. Додонов и в этом случае солгал.

В архивной фроловской папке имеются ещё стихи другого фабричного поэта – Фёдора Шатунина. Этот культурную зарядку получил в школе в фабричной обстановке и жил воспоминаниями о ней.

Фролов и Шатунин уже были на полдороге к тому, чтобы запеть голосом пролетарских поэтов, но им не у кого было учиться, а когда они попадали на Додоновых, то Додоновы за счёт их только клеветали на рабочий класс и свою клевету выдавали за познание России.

IV

И насколько же я был счастливее Фролова и Шатунина, когда на мою долю выпали такие два учителя, как Иван Слуховский и Валерий Яковлевич Брюсов.

Я писал – они меня поправляли, я говорил – они меня в нужных местах останавливали. Помню моё восхищение лермонтовским «Демоном» его клятвой, а Валерий Яковлевич называл её мещанской, отсылая меня к клятве Пушкина, говорил: «Помните его стихи:

Клянусь четой и нечетой,
Клянусь мечом и правой битвой,
Клянуся утренней звездой,
Клянуся вечернею молитвой...

Здесь чувствуется то, что будто это говорит не человек, а существо выше человека, а Лермонтов Демона сделал мещанином.»

«Шуты и дети часто говорят правду, – продолжал Брюсов, – и это шекспировское выражение я позволю себе повторить и иллюстрировать его одним анекдотом.»

Здесь Брюсов заговорил о своём любимом поэте Тютчеве. Тютчев был представлен маленькому мальчику, знавшему его стихи. Мальчик был немало удивлён тому, когда увидел, что любимые его стихи принадлежат

какому-то седенькому старичку. И он, удивляясь этой встрече, сказал: «А я думал, что их написал ангел». – «Вот это художественный критерий детской правды, – сказал Брюсов, – который можно применить и к пушкинской клятве, сказать о ней, что она написана какими-то сверхчеловеческими поэтическими средствами.»

При другой встрече он о Лермонтове говорил уже по-другому; его поэму «Мцыри» он называл недостижимой высотой. Казалось, что он хотел себя поправить, изменить свой взгляд на Лермонтова. Без Тютчева не обошлась и эта встреча; он восхищался тютчевскими рифмами «демоном», «Неманом» из стихотворения «Наполеон». От Наполеона он перешёл к оценке французского правительства, которое, по его мнению, после дела Дрейфуса вынесло самому себе смертный приговор. Брюсов возмущался размножением в миллионах экземпляров речи какого-то члена французской палаты депутатов и удивлялся тому, что это происходит в стране, давшей... Тут он упомянул запамätованное мной имя какого-то египтолога. Как он в этот момент не был похож на первые книги своих стихов, молодой по годам, а этой молодости я в нём не видел. Он был серьёзен и внушительен, с чем очень гармонировала обстановка его квартиры.

Жил он тогда на Цветном бульваре. Мебель его квартиры – красного дерева, цвета переплётá старого псалтиря – вызывала на какое-то особенное внимание к ней и её хозяину. Вся обстановка старокупеческая, но без обычных лампад и псалтиря у божницы.

Серьёзность хозяина и солидность обстановки меня подмывали спросить его, что значит его стихотворение «О, закрой свои бледные ноги!»

Думал я этим вопросом его заставить улыбнуться, но этого я не достиг.

«Вы затронули довольно интересный вопрос... – И он с такой же серьёзностью, с какой говорил о Пушкине и Лермонтове, начал объяснять значение его «бледных ног». – Большинство пишущих старается писать

по количеству строк многострочные вещи, боятся писать стихи в одну-две строчки, как бы их не приняли за фрагменты. Я же этот вопрос своими «ногами» разрешаю так: стихотворение и в одну строку должно иметь все права своего гражданства как форма афористическая. Афоризма в моих «ногах» нет, здесь я к этому подошёл пока только формально. Вот Бальмонт недавно читал мне своё стихотворение «Хочу быть смелым, хочу быть дерзким...» А своего стихотворения в одну строку «И никого и ничего» напечатать не дерзает. А ведь он ваш шуянин, из города рабочих, немного причастен и к революционному движению. А в области литературы он революционер только на словах».

Были у нас разговоры и о том: надо ли издавать и печатать отдельных авторов, когда они ещё не нашли себя, не самоопределились: кто они? и что они?

«Процесс самоопределения, поиски себя, их полнота и сложность переживаний при хорошей их подаче должны расцениваться в положительном смысле. Ведь пути к истине, – сказал Валерий Яковлевич – часто бывают выше самой достигнутой цели».

Остановился он как-то и на мне как на авторе, которого пора печатать и издавать. Он во мне находил оригинальными и такие приёмы, когда в свои стихи я вводил цифры, писал о семи цветах радуги, о семи звёздах Медведицы или:

Мы волны считали: седьмая, восьмая;
И вот роковая нашла...
И вздрогнула наша семья небольшая,
Когда нас она обняла.

В. Я. в то время замышлял издать хрестоматию современной поэзии по образцу германской, изданной Францем Эверсом, куда он намерен был втиснуть и меня.

Издание это по каким-то причинам не состоялось, и тогда он остановился на другом плане: решил выпустить мои стихи отдельной книжечкой. Однако и это издание не состоялось. Повторилась моя авторская застенчивость, пугала меня и упадочность некоторых стихотворений предполагаемой книжки, и явное противоречие – несходство моих обычных настроений с переданными в ней, где я собирался

Плыть к островам небывалого,
К гаваням вечной весны,
Где меня ждут как усталого
Гостя холодной страны.

Не отвечали моим новым настроениям и такие стихи задуманной Брюсовым книжки:

Мы робко с волною воюем,
Возможно ли здесь устоять,
Где бурный прилив неминуем,
А пристани нет – не видать.

Стихи эти были петербургского периода моей переписки с Брюсовым, словарь и образ которых были навеяны Финским заливом, его пристанями, судами и братанием на этих пристанях русских рабочих с иностранцами матросами. Но в этих стихах была и полная оторванность от излюбленной мной тематики родного рабочего города, хотя и на питерской фабрике, где я работал, меня знали и вне моей мастерской.

Когда я из Питера возвратился в Иваново и поступил работать на одну из самых захудалых фабрик Петра Дербенёва, то на ней (да так было и на других местах) я встретил огромный рост сознания рабочих, встретил прослойку из рабочей массы, таких товарищей, с которыми можно было легко и безбоязненно говорить на какие угодно темы. Прошло каких-нибудь

три–четыре года после разгрома нашего объединения, а на пустыре, отделявшем фабрику Дербенёва от фабрики Полушина, в обеденный перерыв уже собиралось человек по 10–15, поднимавших тогда вопросы стачечного движения, борьбы с экономизмом, профессионального и кооперативного движения. Это были дневные сходки революционного подполья социал-демократических кружков. К дербенеёвским товарищам, среди которых были братья Воронины, П. Волков, В. Соловьёв, С. Кисляков, В. Бардов и др., присоединился, будучи тогда ещё подростком, Николай Грачёв.¹³ Он пришёл на фабрику из столярной мастерской ко мне «под руку» в качестве ученика-гравера. Начатки ремесла, стремление быть культурным и развитым рабочим Грачёв приобрёл ещё до фабрики в ученическом кружке реалистов Александра Пророкова и Владимира Носкова¹⁴ – впоследствии очень видного большевика. Пророковский кружок издавал первый в Иваново ученический рукописный журнал, участником которого должен быть и Грачёв. Имея под руками такого ученика, как Грачёв, мне, не утратившему связи и с другими передовыми рабочими, приходилось не раз быть под обстрелом всевозможных вопросов. Это меня обязывало побольше знать, побольше читать, чтобы на задаваемые товарищами вопросы отвечать по существу: лжевсезнайкой я быть не хотел. И у меня эта эпоха приобретения знаний отодвинула стихотворство на задний план, я как поэт замолчал на целых семь лет.

Пришёл 1905 год. Его революционная волна подхватила и меня, в те дни безработного, но связанного общественной работой с кооперацией и зарождающимся профессиональным движением. Я был членом правления общества потребителей и общества взаимопомощи фабричных граверов. Это обязывало меня встать в ряды восставших ивановских рабочих, и я оказался среди них своим человеком. О том, почему я оказался своим, да ещё нужным человеком в тот момент массового рабочего движения, может рассказать книга М. А. Багаева «За десять лет». Багаев пишет: «Иваново-

Вознесенская организация имела и свой хороший тыл. Этот тыл состоял из «Бабы-Мокры» (Е. В. Иовлевой) и нескольких рабочих (А. Е. Ноздрин и др.). Отошедшая временно от революционной работы Е. В. Иовлева формально не состояла членом организации; в течение семи лет, с 1896 по 1903 г., она оказывала всяческое содействие организации: во время обысков предупреждала товарищей о грозящей им опасности, а после жандармских погромов собирала разбитые силы и потом передавала их преемникам в работе. Много помогли организации и стоящие так сказать в резерве товарищи, как, например, Ноздрин и др. У них приезжие товарищи могли получить ночёвку, через них получить связь с той или иной группой рабочих, а кроме того они вели культурно-подготовительную работу среди неорганизованных рабочих, благодаря чему приобрели такую популярность, что во время всеобщей иваново-вознесенской стачки 1905 г. Ноздрин А. Е. был единогласно избран председателем первого Совета рабочих депутатов».

По современной терминологии роль моя в рабочем движении за целый ряд лет сводилась к так называемому «приводному ремню», но эту приписываемую мне честь я хотел бы разделить с целым рядом наших спутников жизни, мне памятных и дорогих товарищей. Мне хочется назвать и их приводными ремнями, если можно так выразиться, «второй передачи», чья помощь часто в весьма рискованных конспиративных делах была так необходима и всегда так жертвенно безупречна. Женщины старших возрастов, наши матери, всячески защищали своих дочерей и сыновей, когда им угрожали какие-либо репрессии. Подпольщик, профессионал-революционер В. Новиков, выдавший всякие виды, побывавший во многих уголках революционной России, в своих воспоминаниях¹⁵ об Иванове и ивановцах говорит следующее: «В то время, когда в Москве в большинстве случаев сознательные рабочие принимали участие в революционном движении или тайком от семьи, или при враждебном отношении части её,

или во всяком случае редки были случаи, когда вся семья от мала до велика была «сознательной», – в Иваново-Вознесенске социалистов считали не по именам, а по домам. Там в партийной работе принимали участие не только отец, но и мать, сын и маленькая дочь, даже бабушка, если таковая была». Ивановские работницы, на 70 процентов заполнявшие текстильные фабрики, и в 1905 г. в большинстве своём не были настроены реакционно. Я не помню ни одного случая, когда бы они мешали активности своих мужей и братьев. Не случайно и в стихах своих я дал несколько зарисовок женщин-работниц, чьи руки ткали не только одни полотна, но и превращали их в знамёна, на которых были революционные могучие слова: «Освобождение рабочих – дело самих рабочих».

События 1905 г., помимо непосредственного участия в них, привели меня к мысли вести запись всего происходившего. Может быть в будущем это кому-нибудь да пригодится. С этой целью я собирал в документах всё, что касалось этих событий, завёл дневник и начал набрасывать первые стихи задуманной мной поэмы «Ткачи».

Дневник вёл я и раньше. Ещё во время кружка И. О. Слуховского я ухватился за мысль Генриха Сенкевича. Его роман «Без догмата» написан им в форме дневника, и самые первые слова его романа говорили вот о чём: «Несколько месяцев тому назад я встретил моего товарища и друга Иосифа Святыньского, который за последнее время занял крупное место среди наших писателей. В беседе со мной о литературе Святыньский между прочим говорил, что придаёт большое значение дневникам. По его мнению, человек, оставляя после себя дневники, дурно или хорошо написанные – это безразлично, лишь бы только искренне, даёт будущим психологам и романистам не только картину современной ему жизни, но единственные правдивые данные, которым можно верить. Святыньский с уверенностью высказал мнение, что в будущем повести и романы примут исключительно форму дневников, утверждал даже, что тот, кто пишет

дневник, несомненно работает в интересах общества и заслуживает его признательности». С этого началось и моё писание дневников; это обязывал делать и 1905 г., когда фабрики перестали дымить, а фабриканты перестали разъезжать из дома на фабрику и обратно на рысаках, когда погасли паровые топки, в особняках фабрикантов затеплились «неугасимые» лампадки, а наш бивуак, раскинутый на Талке, жёг свои огни, выжигая ими всё ненавистное прошлое.

Литературные замыслы этого года ни в какой мере завершить не пришлось. Конец этого года ознаменовался выступлением контрреволюционных сил. Манифест 17 октября – эту царскую милость на словах – отцы города превратили в дело самой жестокой мести. Чёрной бандой я был приговорён к смерти, от возможного самосуда ушёл за несколько минут, и вместо головы черносотенцы отыгрались только издевательствами над женой, над детьми, над моим имуществом, квартирой. Сам же я уехал в Москву.

Как во время пожара спасают в первую очередь то, на что раньше меньше всего обращали внимания, или как во время свидания в тюрьме с близким всегда говорят не о том, о чём бы надо было говорить, – так и я в последний момент перед погромами ничего не взял с собой нужного, ценного, даже денег взял не столько, сколько их понадобилось в первые дни моего невольного скитания, поисков нового пристанища. Да и как тут можно было организованно думать, логично мыслить? Я только удивлялся себе, как это я, человек далеко не из храбрых, не торопился спастись от угрозы смерти? Крики и какой-то особый гул погромщиков были ясно слышны на дворе моей квартиры, а на уговоры моей семьи уйти я всё ещё не сдавался. А не будь около них посторонних, я мог бы быть убит или жестоко искалечен. И только друзья мои и семья сумели меня вытолкнуть за ворота, а один из них – Сергей Кожухов – предложил мне не бежать, когда он увидел, что погромщики от нас недалеко, в каких-нибудь ста

шагах. А побегу мы с ним, нам бы несдобровать. Вдогонку были слышны только крики разъярённой толпы, да пение «Спаси, господи, люди твоя». А моё достояние – книги, накопленные за двадцать лет рукописи, письма, дневники – всё разом превратилось в добычу самых разнузданных безотчётных страстей, на что, как мне передавали после, смотреть было страшней, чем на пожар.

Москва меня встретила добрыми революционными настроениями, её барометр стоял на предгрозы, обещал бурю, и я в этом предгрозы затерялся, от ран и обид быстро оправился. Ивановским беженцем в Москве я был не один, мы начали жить революционным землячеством, почти каждый день собирались на Малой Кудринской в квартире Е. В. Иевлевой.¹⁶ Её квартира в это время походила на пороховой погреб. Хранились «апельсины» македонского образца, тогда мы называли их ещё «тульскими пряниками» – они были привезены из Тулы. Вооружённое восстание, кормёжка «пряниками» врагов признавалась всеми гостями Е. В. А когда начались бои на Пресне, Е. В. ухитрялась поддерживать с ними связь, носила «бойцам» поесть, что-то для них стряпала.

Во время моего непродолжительного пребывания в Москве я встретился и жил в одной квартире с Владимиром Михайловичем Шулятиковым.¹⁷ Знаком я с ним был раньше по Твери, когда он там жил на положении высланного из Москвы.

Тверская наша встреча произошла в «Парусе». Этот «Парус» представлял собой нечто вроде общественного клуба. В его читальном зале мы нашли только одну «Ниву», по поводу чего он тогда заметил, что для Твери, прославленной своим земством, его знаменитыми либералами, одной «Нивы» маловато, но что зато это идёт к лицу города, который находится в двух шагах от Москвы и в то же время считается городом ссыльным, когда о тверском «Парусе» нельзя сказать:

Под ним струя светлей лазури,
Над ним луч солнца золотой,
А он, мятежный, ищет бури,
Как будто в бурях есть покой.

Московская встреча с В. М. была иной. Москва жила предгрозем, приходилось цитировать не созерцательного, туманного Лермонтова, а трезвого и ясного, настроенного пророчески, тоскующего по труду чеховского барона Тузенбаха: «Пришло время, надвигается на всех нас громада, готовится здоровая сильная буря, которая идёт, уже близка и скоро сдует с нашего общества лень, равнодушие, предубеждение к труду, гнилую скуку. Я буду работать, а через какие-нибудь 25–30 лет работать будет уже каждый человек!»

В. М. Шулятиков был человек книжный, критик-марксист, я – представитель рабочей массы. Выходило так, что мы друг другу были нужны, создавалась между нами товарищеская близость, вопросы литературы мы связывали с революцией. Однажды он мне задал довольно внушительную трёпку, когда я защищал «непотухающую силу» Тургенева. Против Тургенева он выдвинул поэтессу Аду Негри, познакомил меня со своими переводами из неё. Поэзию Ады Негри о труде и трудящихся он считал началом новой литературы, чем он вызвал и меня на признание в том, что я – автор трудовой поэмы «Ткачи». Он просил меня её восстановить.

С «Ткачами» я побывал и у Н. А. Рожкова,¹⁸ к которому я попал через Шулятикова с корреспонденцией для «Нашей жизни» об ивановском погроме. Корреспонденцию Рожков одобрил, а поэму нет. Нашёл её тяжелой, но по содержанию интересной. Поэму я решил перекроить.

В истории «Ткачей» был и довольно курьёзный случай. В Рыбинске у меня имелся хороший знакомый Гордий Преображенский, студент, сим-

патичнейший юноша, тогда начинавший беллетрист. Он был знаком с моими «Ткачами», читал их в нескольких интимных кружках. Захотелось ему их прочесть и на маёвке. В день маёвки зашёл он ко мне за рукописью и для опозитизирования своей фигуры взял у меня ещё широкополюю шляпу. Маёвка не удалась, с маёвщиками произошла обычная казацкая расправа. Шляпу Преображенский мне вернул, а рукопись нет: во время казацкой расправы, когда ему пришлось по-звериному ползать под кустами, Рукопись каким-то образом выпала у него из кармана. Но о ней всё-таки остались не одни только воспоминания. В некоторой части она сохранилась, так как отдельные её куски позднее приняли форму самостоятельных стихотворений, из коих и сейчас можно составить поэму-мозаику о моей жизни.

На выручку меня в Москву, где я как безработный томился неопределённым положением – чем жить, что делать, приехал из Рыбинска С. М. Проскурнин,¹⁹ мой земляк, работавший тогда в рыбинских и ярославских газетах. К этому делу он решил приобщить и меня. Пришлось поехать. В Рыбинске я сделался его помощником, он был специальным корреспондентом газеты «Русское слово». Платили хорошо, корреспондировали по телеграфу, к событиям были чутки, а их было много, да и на выдумки были горазды; иногда при корреспондировании мы прибегали к маленьким невинным вольностям.

За счёт моих двух стихотворений, напечатанных в «Вестнике рыбинской биржи», мы встречали новый 1906 г. Продолжали жить и надеждами на ослабление в Иванове черносотенной общественности, в руках которой оказалось первое печатное слово: с ноября 1905 г. начала выходить черносотенная газета «Ивановский листок».²⁰

По поводу выхода «Ивановского листка» нам писали: «Недавно в дом Тихомирова, в помещении его типографии, на углу Напалковской и Павловской улиц, был отслужен молебен. Молились за преуспевание окон-

чательных побед над внутренним врагом, над безбожной и ненавистной купцам и помещикам революцией, ядром которой в Иванове являются рабочие. Молились за процветание свободы печати, дарованной манифестом 17 октября 1905 г. Молебен устраивал Павел Михайлович Зайцев – фельдфебель царской службы и бывший табельщик одного из ивановских заводов, а ныне редактор «Ивановского листка». Культура фельдфебеля и табельщика уже начинает цвести махровым мракобесием, травлей рабочих и угодничеством перед полицией, фабрикантами, торговцами и обывателями.

Редактор «Листка» особенно похож на фельдфебеля в «Хронике», в которой он любит командовать «молодыми людьми» в коротких куртках и штиблетах, называя их «освободителями» и руководителями рабочего движения, приписывать им кражи и все виды уличного хулиганства. «Ивановский листок» у нас называют органом «общественного потемнения», тираж его ничтожен и на его рост никаких надежд нет».

Читая такие известия с родины, приходилось говорить:

Бывали хуже времена,
Но не было подлей.

В противовес этому бандиту мысли, политическому сутенёру Павлу Зайцеву, можно назвать другого Павла – Павла Симонова.²¹

Симонов в ивановском революционном подполье был замечательной фигурой; в нём, как ни в ком другом, была заложена природа подпольщика. Он в течение нескольких лет не выходил из своего подполья. Ухитрился в самую жестокую пору преследования рабочего движения вывозить типографский станок из одного подземелья в другое. Он объехал с ним все окраины города, побывал и в его центре, в деревне, в соседнем городе Шуе. Меняя своих квартирных хозяев, он умел с ними встречаться и расставаться. А когда в конце-концов он попал на квартиру каторжной

тюрьмы, то из крота он превратился в соловья, начал писать стихи, запел о солнечных днях и в тюрьме. Его очень ценил М. В. Фрунзе. Однажды мимо камеры Фрунзе он возвращался от судебного следователя. М. В. его остановил и спросил: «Ну как дела, Паша?» – «Да на горе! Ждал 126-ю а дали только 102-ю». В подземельи Симонову юридическими науками заниматься было некогда, он плохо разбирался в том, какая статья крепче, 102-я или 126-я. И М. В. их ему расшифровал, сказав, что дело его скоро будет под горой, на каторге. Но Симонова это не смутило: что ему каторга, когда он её уже знал? Сложная и ответственная работа была для него не легче цепей, и эти цепи он носил с честью.

Одной из таких особенных побед в сентябре 1906 г. был выпуск газеты ивановской группы большевиков – «Известия».

По размеру газета была в четыре страницы писчего листа бумаги. Выход этой газеты являлся опровержением тех кривотолков об ивановских рабочих, что их партийная организация и их вожди после октябрьского погрома никак не могут подняться и не поднимутся. А тут против всякого ожидания у самого носа Павла Зайцева вышла рабочая газета с корреспонденциями от целого ряда фабрик, со статьями о государственной думе, как на неё смотрят большевики. Правда, техническое оформление газеты было не без недостатков, оно в этом отношении «Ивановскому листку» кое в чём уступало: у Павла Симонова не хватало нескольких букв из титульных и текстовых шрифтов, хотя остальное всё было в порядке.

Выход «Известий» привёл Зайцева в неистовое бешенство, его газета ополчилась на «Известия» с обычными помоями. И это было понятно. Но совсем непонятно было поведение губернской либеральной газеты «Владимирец», напечатавшей из Иванова корреспонденцию об «Известиях», что несомненно отразилось на дальнейшей судьбе газеты. Около неё и без этих указаний копошилась вся наружная и тайная полиция, а тут,

изволите ли видеть, по служебному самолюбию жандармов начали бить ещё либералы, науськивать её на подпольную газету. Выход «Известий» ограничился только одним номером.

Недобрым словом приходится помянуть Павла Зайцева и за его обработку, за его эксплуатацию поэтов В. Ключина²² и М. Артамонова.²³

Работали они у него и терпели его, находясь в положении газетных техников. Платил Зайцев им мало и этим он их вынуждал на приработок, заставляя их писать в угодном ему духе. Артамонов и Ключин представляли собой богему, бесшабашную, культурную вольницу. Тот и другой ежедневно и ежечасно старались освободиться от Зайцева, а выход из положения видели в издательстве, что осуществили и на деле. Ключин в течение года выпускал журнал «Иваново-Вознесенская жизнь», и около того же срока выходил артамоновский журнал «Дым». Артамонов свой «Дым» начал издавать при 13 рублях в кармане, а Ключин был ещё смелее – у него ничего не было, кроме семьи из семи человек да знакомства с маленьким типографом Бабановым. Бабанов выручил и Артамонова: первые номера «Жизни» и «Дыма» были иждивенческим делом Бабанова и бесплатного сотрудничества поэтов – И. Назарова, А. Благова, Якова Лепилова, Ивана Панкратова, от компании которых не отставал и я.

Оба журнала, в чём у нас не было расхождения, были убоги, но хорошо и то, что без материальной помощи, без участия интеллигентских сил мы издаём обличительные журналы, становимся до некоторой степени выразителями общественного мнения, имеем рабочего читателя, создаём свою рабочую литературу, развиваем навыки самодеятельности. И это надо считать если не за литературное, то во всяком случае за самое реальное культурное достижение.

Журналы, подобные ключинской «Жизни» и артамоновскому «Дыму», я знал в Рыбинске и Ярославле. В Рыбинске вместе с С. М. Проскурниным мы издавали «Дубинушку»; общий наш знакомый в Ярославле Куприянов

издавал «Колотушку». «Дубинушку» мы начали издавать в самом буквальном смысле без копейки. Нас в этом деле выручил типограф Деменев и владелец газетного киоска С. Разроднов. Они сошлись на общей симпатии к нам обоим, а потому без особого труда мы их притянули к себе как бы в качестве соиздателей. Из нас образовалось в некотором роде коллективное товарищество. Никаких особых доходов из нас никто не получал, а какие доходы и причитались нашим соиздателям, то всякий раз, за каждый номер мы рассчитывались где-нибудь в трактире за чайком и графинчиком, а последний, заключительный, так называемый «разгонный» графинчик, часто превышал доход наших коллег. Разговоры за графинчиком всегда носили характер общественный, – говорили прежде всего о судьбах провинциальной печати. Разроднов под хмельком однажды договорился до того, что предлагал свой дом под общежитие для газетных работников. Не отставал от него и Деменев: и он для нас, пасынков жизни, готов был поступиться своей типографией, отдать её в наше товарищеское кооперативное пользование.

После выпуска семи номеров «Дубинушки» все литературные и кооперативные наши планы рухнули, – сотрудники и доброжелатели «Дубинушки» в это время объявили ярославским охранникам войну. Нас, руководителей «Дубинушки», в эту войну впутывать они не хотели, зная, что и в «Дубинушке» есть материал, за который можно было притянуть.

Мы местную цензуру обманывали тем, что печатали переводы с несуществующего новогреческого языка. Вот наглядный пример:

ИЗ МАКЕДОНСКИХ МОТИВОВ

(С новогреческого)

ПЕСНЯ КУЗНЕЦА

С вами – золото червонное,
Братской кровью обгарённое,

С нами – молоты и плуг
За века нужды и мук
С закалённой силой рук.
(Припев) Стук, стук!
 Куй, друг!
 Под звук
 Стук, стук!

Знайτε, деспоты развратные,
Мы куём мечи булатные:
Ваши головы рубить,
Вашу кровь повсюду лить,
Чтобы волю раздобыть.

(Припев)
Всех побьём мы вас, губители,
Золотые повелители,
Нет от нас пощады вам,
Бессердечным палачам, —
Нет её ни здесь, ни там...

(Припев)
Куй, разбей ударом молота
Поскорее царство золота.
Всё по камню размечи,
Что воздвигли палачи,
Куй же, куй, смелей стучи!
(Припев) Стук, стук!

 Куй друг!
 Под звук
 Стук, стук!

(Перевод С. Сырейщикова)

«Песня кузнеца» Сергея Сырейщикова по всем признакам выходила за пределы «дозволенного». Она напечатана была в октябре 1906 г., когда революционная волна уже спадала и поднималась волна реакции, преследования. Мы это сознавали, но в практике провинциальных издательств это называлось тем, что подходило под понятие «написать под занавес», закончить дело с шумом, с эффектом, с музыкой, что в большинстве случаев отвечали подставные редакторы «отсидчики». Получался в некотором роде благородный жест. Рыбинская цензура «новогреческий язык» так и проморгала – мимо неё, да и мимо всех читателей рыбинских изданий проходило и такое бытовое явление старых газетных нравов. У «Рыбинского листка» и «Вестника рыбинской биржи» начинает падать «розница». Враждебно настроенные друг к другу редакторы этих газет вдруг становятся «друзьями», уговариваются попить вместе «чайку», идут в трактир и прихватывают туда с собой сотрудников. За «чайком» выбиралась тема, устанавливался срок, в течение которого газета газету должна обливать помоями, деликатно называя это «полемикой». «Розница» газет от этого выигрывала, серенький рыбинский американизм хорошо отзывался на заработке розничников газет, сотрудники «гнали строку», казались именинниками, а общественное мнение было одурачено.

Меня почему-то облюбовал рыбинский газетчик С. Я. Разроднов и решил послать торговать газетами в Ярославль.

К задачам этой торговли, ради должно быть моего морального удовлетворения, была пристёгнута и задача борьбы с черносотенными изданиями, имевшими в то время большой сбыт в Ярославле.

Более внимательным и ежедневным посетителем моего ярославского киоска, открытого на Власьевской улице, был чиновник особых поручений при губернаторе – князь Голицын.

Он ежедневно у меня спрашивал «Вече», «Московские ведомости» и

другие черносотенные издания, а я ему изо дня в день предлагал газеты другого лагеря. Тогда он начал меня донимать ещё тем, что заставлял в этих газетах комментировать указанные им места – и я за свои комментарии побаивался.

Моим товаром начинали тяготиться и газетчики-разносчики, которые из-за более выгодных условий перешли ко мне от других хозяев. У них всегда спрашивали черносотенные издания, а у меня их не было. Тогда в одно прекрасное время посланную мною через них телеграмму – заказ на газеты – они переделали и я вместо обычного набора газет получаю одно «Вече» около 3 тысяч номеров.

Когда мне представилась возможность вернуться в Иваново, я очень жалел о том, что в Иваново я снова буду обречён на полное литературное молчание, и мне нигде будет применить и свой опыт газетной техники. Но в таком бездейственном положении в Иваново я был недолго. В ночь на 3 июня 1907 г. меня арестовали, заставили отвечать за 3 июня 1905 г., когда я чуть не попал под казацкий расстрел, и за то, что в октябре этого же года я был черносотенцами разорён и ими же присуждён к самосуду. Тюремная контора вскоре мне объявила, что имеющееся за мной дело прекращено, надзор с меня снимается. А из тюрьмы меня всё-таки не освободили, и этот тюремный анекдот кончился тем, что меня выслали в Олонецкую губернию. В ссылке оказался и Проскурнин, который был оставлен на исправлении в Вологде, где он скоро сделался своим человеком в местной прессе, реферировал земские собрания, а ссыльное население города было в большинстве из культурных центров. Столыпин высылал и тех, у кого совесть была не косноязычна, а мысль свободна.

На мою долю выпала олонецкая глушь. В эту глушь шли и ссыльные из глухих углов, «лесные братья» – воронежцы, аграрники – киевляне и др. Они нередко создавали и такую обстановку, что южная глухомань шла войной на северную глухомань, создавались то и дело конфликты, на

улаживание которых мы, два–три человека, будучи покультурнее других, тратили много времени. Мы растворялись в этой серой массе, а потому урядник и шпик своим посещением нас не донимали; мы не боялись за переписку, а я спокойно читал и писал, восстанавливая разрушенное черносотенцами, что позднее и вошло в мою книгу «Старый парус».

Ссылка меня сделала большим поклонником эпистолярной формы, значение которой после дневников я считаю не менее ценным.

Моими самыми близкими читателями того времени были С. М. Проскурнин и И. А. Волков,²⁴ с которыми я всегда был в переписке. Первый из них как поэт и во мне видел своего соратника, а второй – краеведа. Через первого я узнал, чем живёт юг, его центр, через второго – чем живёт Поволжье. Это были облюбываемые места их скитальчества, их газетной работы, к чему они оба имели большую неодолимую тягу и чего они не могли иметь у себя дома, в Иванове. Сошёлся я с ними в ивановском отделении «Северного края» в пору молодого рабочего движения и ещё более молодого, делавшего первые шаги, рабкоровского движения. Ивановские передовые рабочие того времени, учуя в «Северном крае» свою рабочую трибуну, начали выдвигать из своей среды в газету корреспондентов, по современной терминологии рабкоров. Отделением «Северного края» в то время заведывала Ольга Алексеевна Белова (по мужу), родом из революционной семьи. Её братья Александр и Виктор Вановские в своё время были довольно известными социал-демократами. Рабочие к Беловой сначала приходили только купить газету, подписаться на неё, а ей был нужен ещё критик, серьёзный читатель газеты. И когда она от рабочих узнавала, чего не хватает в газете, она им говорила: «А вы бы взяли да что-нибудь и написали в газеты!» Писательство в то время для рабочих было делом мало привычным. Тогда она решила их сделать корреспондентами-устниками. Записанным с их слов она делилась и с нами, с более культурными рабочими, знавшими хорошо город и фабрику, и газетная заметка уже прини-

мала форму коллективной обработки, когда мы в неё вносили то или иное исправление.

Популярность газеты и самой Беловой превратили её отделение в штаб-квартиру революционных явок, в склад нелегальной литературы, в адресат конспиративной переписки.

Тираж «Северного Края» поднимался, успехами его тиража и общественной значительности соблазнил и наш губернский центр – Владимир. Появилась и в нём первая газета «Старый владимирец», основанная Левицким.

Соратники Беловой М. П. Капица²⁵ и мой молодой друг С. М. Проскурнин свою газетную работу разделили между «Северным краем» и «Старым владимирцем», в нашу группу первых ивановских газетных работников вошёл И. А. Волков. Волков писал под псевдонимом «Кифа Мокеич», Проскурнин – «Спиридонов поворот», Капица – М. Радлов.

Как для «Северного края», так и для «Старого владимирца» сотрудничество указанной группы имело двойное значение: с одной стороны, оно служило их росту и развитию, а с другой, – заставляло цензуру быть более внимательной к корреспонденциям и статьям из Иванова, за что эти газеты не только подвергались репрессиям, но иногда и приостанавливались. «Северный край» был вне черты нашей губернии и он продержался дольше «Старого владимирца». «Северный край» широко обслуживал и наше движение 1905 г. Отделение этой газеты во второй половине 1905 г. было в руках А. С. Самохвалова, у которого наше молодое рабкоровское движение было уже более организованным, его рабкоры были не беловскими 172 устниками, а самохваловскими рукописниками. Самохваловское отделение было такой же революционной штаб-квартирой, каким оно было и у О. А. Беловой. Указанные две газеты создали и первых продавцов газет из рабочей среды. Особенно более заметными оказались Комиссаров и Андреев – это были первые рупоры, первые громкоговорители нашей первой революции 1905 г.

В поясах большего простора для своей газетной работы Проскурнин и Волков выехали из Иванова.

Проскурнин и Волков были авторами описания июньского расстрела наших рабочих в 1905 г. Московская «Северная почта» за напечатание этой корреспонденции была приостановлена на месяц. Я расстался с ними, продолжая поддерживать связь через переписку. И откуда бы они мне ни писали, всегда меня спрашивали: «А в Иванове газеты всё ещё нет? Когда же она будет?» Черносотенный «Ивановский листок» как я, так и они считали как бы не существующим.

Волков в своих письмах всегда был озабочен тем, пишу ли я, печатаюсь ли? Несколько моих стихотворений он напечатал в царицынских старых газетах типа «Волжско-Донского края» и «Царицынского слова». Ещё в большей мере об этом заботился С. М. Проскурнин, но этот сам был непоседа. Человек неугомонной совести, прямолинейности, неспособный ни на какое прислужничество, он был всё время неустроенным. То и дело менял города, редко лишь менял вечно худые башмаки, рваное пальто, или своё более чем скромное меню. Будучи уже женатым, он оставался поэтом богемы. Был он большим мастером и на выпивку, что по совокупности и привело его к преждевременной могиле. Умер он в 1923 году в Харькове.

Вспоминается мне многое из нашей совместной работы с Проскурниным.

К весне 1907 г. я имел за собой уже более двух лет безработицы, жил в Иванове за счёт родственников моей жены. Положение было тяжёлое, морально гнетущее. Попытки вернуться на фабрику в мастерскую всегда оспаривались моими близкими товарищами. Они мне указывали на существующий «чёрный список», куда я был занесён как лишённый прав. Волею фабрикантов из трудовой семьи я был вычеркнут, на фабричных воротах для меня красовалась надпись: «смертный, оставь надежды».

Восстановление утраченных прав лежало через худший путь испыта-

ния, через путь раскаяния, покорности перед палачами духа, разгул которых с каждым днём всё разрастался.

Во время этих дней, жутких и чёрствых, я был очень обрадован письмом из Рыбинска от С. Проскурнина. Он мне писал: «Приезжай, есть интересное литературное дело». Коротко, неясно, а поехать всё-таки решил.

Была пасхальная неделя. Под звон пасхальных колоколов я встретил Сергея Михайловича торжествующим на прежней квартире очень милой семьи Дубровиных. Смотрю на него и дивлюсь – весь он в синей краске как рабочий ситцевой фабрики. Спрашиваю, что это значит.

Яйца красил. Под яичко можно и выпить по лампадочке.

Оказалось, что в краске он вывозился по близорукости при печатании подпольной газеты «Рыбинский затон». Это и было то литературное дело, о котором он мне писал.

С. М. конспиративную работу очень любил, ни от какой работы никогда не отказывался, но из него революционного поэта всё же не вышло. Он оказался поэтом-белоручкой, синюю краску «Рыбинского затона» он отмыл, у выходца из рабочего города рабочего мировоззрения не оказалось.

Его книга «Замкнутый круг» сделана хорошо, но в ней одно литературное нытьё и книжность, не то, чем он жил когда-то, а то, чем жили в ту эпоху интеллигентские литературные верхи. Перерождение Проскурнина совершилось во время его работы в столичных и южных больших газетах. Работая в Рыбинске, С. М. имел перед собой издателя «Рыбинского вестника» Семёна Разроднова. Семён Разроднов своим сотрудникам никогда никаких требований не предъявлял, кроме одного требования: «Хроники побольше». Он был гостеприимен, любил засадить за своё артельное общее блюдо. Его обеды напоминали обеды плотников, каменщиков, с обязательной командой «таскай со всем», сопровождаемой стуком его ложки по блюду. За этим блюдом в своё время побывали многие дети народа, сыны рабочего класса: Тихоплесец, Никаноров-Коринский, Травин,

Ожегов, И. Волков и др. Многие из его бывших «нахлебников» писали свои воспоминания и несправедливо, необдуманно называли Семёна Разроднова чуть ли не эксплуататором, домовладельцем, а на деле его дома были заложены и перезаложены. И думать, что он их строил за счёт наших стихов и прозы, никак не приходится: на нас он разорился, а не приобретал.

С. М. Проскурнин написал пьесу «Хозяин» как продукт своей ненависти к действительным дельцам газетного мира более высоких степеней и масштаба, чем рыбинцы. В пьесе не было ни «Рыбинского затона», ни разродновских «побольше хроники», «таскай со всем», а изображён был быт культурных живоглотов. Этот материал своей новизной подкупил М. Горького и Л. Андреева, они с пьесой «Хозяин» считались, как с литературным значительным явлением. Пьесу нигде не ставили. Мои попытки показать в Иванове земляка-драматурга наткнулись на такое затруднение:

«Ну, кому здесь нужна пьеса из газетного мира, когда у города нет никаких ни литературных, ни газетных традиций?»

Здесь кажется уместно поставить вопрос: почему же из С. М. Проскурнина, всегда настроенного революционно, всегда мыслящего по революционному, не получилось певца первой русской революции? Он очутился в туго затянувшейся петле, в «замкнутом круге».

Мне кажется, что он подвёл себя ставкой на высококультурного читателя. Как взыскательный художник он чурался низов, не хотел видеть своими читателями широкой рабоче-крестьянской массы, не учился у неё. А ведь её репертуар старых народных песен был всегда репертуаром очень хорошего вкуса, что являлось и её личным большим мастерством массового коллективного творчества.

Свои наблюдения за низовым читателем я считаю своей учёбой. На этих уроках я научился свойственной мне простоте языка, бытовой тема-

тике, демократизации человеческого материала, научился защищать положение, что художественно чаще всего то, что легко запоминается.

У меня есть стихотворение, озаглавленное

У ПРОРУБИ

В полушубках рваных, рыжих,
Рыбу удит детвора;
Зябнет, греется на лыжах
У огромного костра.
«Песню пахаря» Кольцова
Декламирует один.
Глушь кругом, а мастер слова
И в глуши здесь господин.

Мы в изгнаны, а привольно
Всё нам кажется кругом.
В чтении как-то произвольно
Стих вставляем за стихом.
Улыбается счастливо
Чтенье вызвавший малыш.
И бегут, бегут красиво
От костра дорожки лыж.

Это происходило в глуши Олонецкого края, во время мартовского уженья ершей. В этом факте я видел восприимчивость трудового народа, чуткого к художественному слову, к обаятельной кольцовской простоте, чуждой щёгольской заумности, так трудно запоминаемой. Поразительно было то, что собрались люди из разных концов, разных возрастов, а хрестоматийное стихотворение Кольцова у всех так свежо в памяти, как будто оно у нас заучено твёрдо на всю жизнь.

Нечто подобное тому, как воспринимает художественное слово народ я встретил ещё раньше, когда шёл в олонцецкую ссылку. Рыбинский конвой в Белозёрске передал нас архангельскому конвою. Архангельцы были поостроже, чем рыбинцы. Военную дисциплину соблюдали свято. Им, в большинстве поморам, ходившим матросами в «Норвегу», была хорошо знакома матросская дисциплина, и они нас в этапных избах старались держать в строгости и подчинении. Но и они иногда скучали, ради скуки часто прислушивались к тому, о чём мы спорили, и нередко смеялись, декламировали Некрасова, Шевченко и др.

Конвоиры вздыхали... И в этих вздохах чувствовалось, слышалось раскаяние, голос человека, задавленного, обманутого святостью присяги. А с воли, с улицы слышался другой голос, – как бы поддакивающий нам:

Ой, как стало тяжко жить,
Горе наше копится,
Ведь отец чужой на нас
Глядячи, навопится.

К числу тюремных поэтов в летописи пролетарской литературы надо отнести довольно колоритную фигуру Никифора Ивановича Махова, родом из села Стебачёва из тогдашнего богобоязненного Суздальского края. Махов в Иваново-Вознесенске появился в пору создания первых социал-демократических кружков, когда рабочие, подобные Махову, плохо ладили со своими фабрикантами-хозяевами, по доброй воле и поневоле переходили с фабрики на фабрику, а потом в течение многих-многих лет, но только уже поневоле, перекочёвывали из тюрьмы в тюрьму. Первым стихотворением Махов ознаменовал первую встречу рабочими Иванова нового года. Это был канун 1896 г. На конспиративной квартире, в сильно накуренной комнатухе, но без крепких напитков, рабочие дискуссировали, пели песни и декламировали стихи народовольцев, на что Махов как бы хотел сказать: и наши не хуже ваших. Он посмотрел на своих товарищей и прочёл следующее своё стихотворение:

Мы как члены славной партии,
Социальной демократии,
Мы прогресс желаем ей,
Мы гроза купцов, царей,
Мы враги такого строя,
Где бездельники царят,

А рабочих, всё создавших,
Страшным голодом морят...

Стихи Махова по форме были не выше стихов рабочих поэтов – Фролова, Шатунина и др. Но в содержании их уже ярко начинает выявляться подлинное лицо рабочего класса, развёртывание его боевых путей.

Махов написал немного, и всё им написанное датировано годами и помечено местом его отсидок в больших и малых тюрьмах того огромного полицейского участка, имя которому было «Российская держава».

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Нечаев Сергей Геннадиевич (1847–1882) – родился в Иванове и жил там до 1865 года. Интересные данные о генеалогии Нечаева, его раннем детстве, Нечаев подросток и пребывание его в Иванове приводит на основании архивных и других материалов П. М. Экземплярский в статье «Село Иваново в жизни Сергея Геннадиевича Нечаева» («Труды Иваново- Вознесенского губернского научного общества краеведения», вып. 4. – «Историко-революционный сборник», Иваново-Вознесенск 1926 г.), см. также ст. Н. Ф. Бельчикова «С. Г. Нечаев в с. Иваново в 60-е годы» («Каторга и ссылка», 1925 г., № 1/14).

2. Ежедневная газета «Современные известия» выходила в Москве с 1868 по 1887 г. Никита Петрович Гиляров-Платонов (1824–1887) – известный в своё время публицист, примыкавший к славянофилам.

3. Орехово-зுவевская забастовка, известная в истории революционного движения под именем морозовской стачки, происходила с 7 по 14 января 1885 г. Поводом к ней послужили незаконные штрафы, применявшиеся на фабрике Морозова, а также понижение расценко. Организатором стачки был П. А. Моисеенко. После морозовской стачки началась целая полоса забастовок.

4. Гора Покровская, на которой до недавнего времени стоял в Иваново-Вознесенске Покровский собор, – одно из центральных, но тихих мест города, любимое место сборов молодёжи в дореволюционное время.

5. Суховский Иван Осипович, брест-литовский помещик, сын военного фельдшера, один из основных руководителей кружка, не шёл дальше «просветительских» задач.

6. «Кружок», о котором пишет Ноздрин, был разгромлен в 1891 г. В нём преобладала интеллигенция; основной целью ставилось «саморазвитие», социально-политические задачи были выражены слабо. Участники кружка: Слуховский, Бабиков, Суховский, Крестов, Ноздрин. Об этом кружке см. статью Н. В. Малицкого «Тайное общество в гор. Иваново-Вознесенске в 90-х годах XIX столетия» («Труды Иваново-Вознесенского губернского научного общества краеведения»); в этой статье приведён отрывок А. Е. Ноздрина из его рукописи «О себе. 1862–1922», дающей краткий пересказ того, что публикуется о кружке в настоящих мемуарах поэта.

См. также статьи в сборнике «XXV лет РКП (большевиков). Воспоминания иваново-вознесенских подпольщиков», Иваново-Вознесенск 1923. Более крепким и рабочим по составу и близким к демократическим идеям по направлению был последующий кружок, руководимый студентом Ф. А. Кондратьевым, из которого позднее возник «Иваново-вознесенский рабочий союз».

7. Семенчиков Роман Матвеевич (1877–1911) – выдающийся рабочий-революционер, по происхождению крестьянин с. Сидоровского Шуйского уезда. Работая в Кохме на фабрике Ясюнинских, быстро втягивается в рабочее движение. Участник тайного рабочего союза в 1897–1898 гг. в Кохме. С 1898 г. – в Иванове, где становится участником рабочих массовок. В 1904 г. казаки жестоко расправляются с Семенчиковым, избив его и перерубив пальцы рук. Далее – революционная работа в Риге. В 1906 г. Семенчиков приговаривается к смертной казни (заменённой 15-ю годами каторги). В Смоленской каторжной тюрьме принимает активное участие в организации так называемой «голой» забастовки. Проводил заключение в Шлис-сельбурге. Умер на каторге. О Семенчикове см. Л. Н. Рябинин «Материалы для биографии Р. М. Семенчикова», Гиз, 1922. Помимо биографии, здесь приведены интересные статьи, письма и отрывки из дневников Семенчикова.

8. Постышев Павел Петрович – выдающийся рабочий-революционер, ныне секретарь ЦК КП(б)У и Киевского обкома. В описываемый Ноздриним период отбывал наказание во Владимирской каторжной тюрьме.

9. Симонов Павел – о нём см. примечание 21.

10. «Северный край» – ярославская газета, основанная в 1898 г., одна из лучших провинциальных газет, неплохо освещавшая хронику рабочего и революционного движения.

11. Шестернин Сергей Павлович – иваново-вознесенский городской судья, принимавший горячее участие в культурно-просветительной работе среди рабочих. Был близок к кружку иваново-вознесенских рабочих (так называемому тайному обществу, образовавшемуся после разгрома Иваново-Вознесенского рабочего союза). Привлекался к дознанию в качестве обвиняемого по процессу общества и был распорядителем книжной лавки, имевшей целью смычку интеллигентов с рабочими. Н. В. Малицкий в упоминаемой выше статье приводит следующие места из показаний Шестернина: «В Иваново-Вознесенске при 54 тысячах населения не

было ни одного книжного магазина, народных библиотек и читален и других просветительных учреждений тоже не было. Мне лично как судье при разборе дел постоянно приходилось наблюдать, что громадный процент всяких правонарушений совершается виновными в пьяном виде. В то время на улицах, особенно в праздничные дни, валялись повсюду пьяные, везде происходили драки и насилия. Такое одичание вполне понятно, если принять во внимание, что ежегодно до 500 детей не принималось в школы из-за отсутствия в них свободных мест».

12. Письмо Короленко к Н. К. Михайловскому опубликовано в сборнике «В. Г. Короленко. Письма. 1888–1921 гг.», под ред. Б. Л. Модзалевского. П., 1922 (№ 38 от 23 сентября 1900 г., стр. 64–66).

13. Грачёв Николай – выдающийся революционер, рабочий Иваново-Вознесенска.

14. Носков Владимир Александрович (умер в 1913 г. в Хабаровске) – видный революционер, участник социал-демократического движения. Один из главных организаторов «Северного рабочего союза». В Иваново-Вознесенске учился в реальном училище, позднее вошёл в рабочие кружки и примкнул к марксизму.

15. Приводимое место из статьи Новикова прекрасно доказывает, что Горький в образе Пелагеи Ниловны (роман «Мать») дал верное типовое обобщение матери рабочего.

16. Иовлева Е. В. – хорошо известная членам иваново-вознесенской организации большевиков-революционеров, впоследствии отошедшая от движения и формально не состоявшая в партии. Оказывала огромное содействие работе организации.

17. Шулятиков Владимир Михайлович (1872–1912) – известный публицист-литературовед, один из ранних марксистских литературных критиков.

18. Рожков Николай Александрович (1868–1927) – крупный историк, активный участник революции 1905 г.

19. Проскурнин Сергей Михайлович (1880–1923) – журналист, поэт и драматург (псевдоним «Милый Стрёмин»). Типичный провинциальный работник печати, исколесивший почти всю Русь. Не имея твёрдых политических взглядов, Проскурнин, однако, чутко отзывался на современные темы и, будучи незаурядным фельетонистом, смело боролся за независимую провинциальную печать и за лучшее

существование народных масс. В Рыбинске он вместе с Ноздриным издавал сатирический журнал «Дубинушка». В 1907 г. был выслан на три года в Вологодскую губернию. Лирика его собрана в книге «Замкнутый круг» (изд. «Общественная польза», 1913); из пьес его ставились «Звонарь Реймского собора». «Хозяин» – из жизни газетных работников.

20. «Ивановский листок» был махровой погромно-монархической газетой и вёл-ся довольно безграмотно. Редактор его П. И. Зайцев, бывший ротный фельдшер, член «союза русского народа», издавал газету не столько по призванию к тяжёлому газетному делу, сколько предвидя выгоды от служения печатному делу (см. о нём «20 лет по газетному морю» И. А. Волкова).

21. Симонов Павел – рабочий-революционер, токарь механического завода, блестящий организатор подпольной типографии 1905–1906 гг. Был членом Совета рабочих депутатов Иваново-Вознесенска. Типография вначале помещалась на квартире Симонова, затем была передана на Борисовскую улицу. Работал Симонов по созданию типографии и в Шуе до конца 1906 г. О деятельности типографии Симонова см. в статье В. Смирнова «В подполье» (сб. «Воспоминания иваново-вознесенских подпольщиков»).

22. Ключин Василий Егорович – иваново-вознесенский фельетонист и поэт, редактировал журнал «Иваново-Вознесенская жизнь». В своих банальных по форме стихах, помимо изображения купеческого и мещанского быта, касался и тяжёлой доли рабочего; ясно выраженных политических тенденций его газетная лирика однако не имела.

23. Артамонов Михаил Димитриевич, (р. 1889) – поэт, деятельный сотрудник иваново-вознесенских изданий как дореволюционной так и революционной поры. В 1913 г. издаёт в Иваново-Вознесенске журнал «Дым» и выпускает сборник своих стихов: «Когда звонят колокола» и «Улица фабричная». Позднее ближайший сотрудник большевистской «Правды», «Работницы», «Вопросов страхования» и других изданий. С 1924 г. – в Москве. За революционный период издано несколько сборников его стихов, рассказов и очерков.

24. Волков Иван Андрианович (р. 1881) – иваново-вознесенский литератор-«газетчик». Очерки его из фабричной жизни с сатирическим показом ивановских фабрикантов печатались в 1903 г. во «Владимирской газете» под названием «Сит-

цвое царство». Сотрудничал в «Северном крае» и многих других провинциальных газетах, давая корреспонденции о положении рабочего класса в «Русские ведомости» и другие столичные издания. В революционные годы изданы следующие книги И. А. Волкова «Ситцвое царство» с предисловием М. П. Сокольниковца («Основа», Иваново-Вознесенск 1925), «Двадцать лет по газетному морю» (Основа 1925), «Ситцвое царство», том второй («Основа» 1920), «Бунтаря» – сцена из истории рабочего движения 1905 г. («Основа», 1925). О нём см. брошюру М. П. Сокольниковца «Литература Иваново-Вознесенского края», Иваново-Вознесенск, 1925, стр. 26–27.

25. Капица Михаил Петрович (1870–1924) – участник подпольных, революционных кружков Петербурга и антиправительственной демонстрации 13 апреля 1891 г. в день похорон Н. В. Шелгунова. В Иваново-Вознесенске был с 1900 по 1905 г. в должности фабричного инспектора. Проявил большое внимание и чуткость к местному рабочему населению, защищая всячески его интересы как по служебной линии, так и в печати. Печатался до революции под псевдонимами Михаил Радлов и Т. Произведения его печатались в «Русском богатстве», «Журнале для всех», в «Северном крае», «Владимирской газете», «Правде» и мн. др. Среди его беллетристики немало очерков и рассказов из рабочей жизни («С путанкой попалась», «Дядя Семён», «Нищенствующие дети», «Хожальи», «Ан-«тип», «Абдулка», «Кузнец Тихон Ермолаевич», «Таскальщик Егор» и др. Некоторые из его рассказов вошли в книгу «Живые фотографии», М. 1904 г. под псевд. Михаил Радлов). В революционные годы выпущен был отдельным изданием «Котлочист Ваня» (Л. 1924) – повесть об ужасающих условиях труда малолетних рабочих-котлочистов. Незадолго до смерти Капицей подготовлена была для печати книга произведений под названием «Пролетарские рассказы». О нём см. статью Леонида Богданова «Бытописатель рабочего края» (Литературное приложение к «Рабочему краю», 22 мая 1928 г., Иваново-Вознесенск).

Константин Бальмонт





Константин Дмитриевич Бальмонт родился 3 (15) июня 1867 года в деревне Гумнищи Шуйского уезда Владимирской губернии.

В 1876–1883 годах К. Бальмонт учился в Шуйской гимназии, откуда был исключён за участие в антиправительственном кружке. Продолжал своё образование во Владимире (гимназия), Москве (университет) и Ярославле (Демидовский лицей). В 1887 году за участие в студенческих волнениях в Московском университете был сослан в Шую, где сблизился с политически «неблагонадёжным» рабочим А. Бердниковым. Сам Бальмонт долгое время считал себя революционером, и в стихотворении 1905 года «Поэт – рабочему», определяя поэзию как главную жизненную миссию, вместе с тем подчёркивал:

Но видал я с детских лет
В окнах фабрик поздний свет, –
Он в уме оставил след,
Этот след я не сотру.

...На бурные события первой российской революции К. Бальмонт откликается сборниками «Стихотворения» (1906) и «Песня мстителя» (1907), его острообличительные, декларативные «рабочие песни»

печатаются в большевистской газете «Новая жизнь», в горьковском издательстве «Знание».

«Старый революционер» К. Д. Бальмонт в феврале 1917 года приветствовал свержение царя, ведь он ещё десять лет назад предвещал:

Кто начал царствовать – Ходынкой,
То кончит – встав на эшафот.

14 марта 1917 года, находясь в Иваново-Вознесенске, поэт напишет радостное стихотворение «Вольный стих», впоследствии вошедшее в цикл «Песня рабочего молота», с примечательным посвящением – «К Иваново-Вознесенским рабочим».

*Биографическая заметка А. Л. Агеева и П. В. Куприяновского из книги
«Дм. Семёновский и поэты его круга»,
Советский писатель, Ленинградское отделение, 1989.*

ПОЭТ – РАБОЧЕМУ

Я поэт, и был поэт,
И поэтом я умру.
Но видал я с детских лет
В окнах фабрик поздний свет, –
Он в уме оставил след,
Этот след я не сотру.

Также я слышал гудок –
В полдень, в полночь, поутру,
Хорошо я знаю срок,
Как велик такой урок,
Я гудок забыть не мог,
Вот – я звук его беру.

Почему теперь пою?
Почему не раньше пел?
Пел и раньше песнь мою,
Я литейщик – формы лью,
Я кузнец – я стих кую,
Пел, что молод я и смел.

Был я занят сам собой,
Что ж – я это не таю.
Час прошёл. Вот – час другой.
Предо мною вал морской,
О рабочий, я с тобой,
Бурю я твою пою.

1906 г.

РУССКОМУ РАБОЧЕМУ

Рабочий, только на тебя
Надежда всей России.
Тяжёлый молот пал, дробя
Оплоты крепостные.
Тот молот – твой. Пою тебя
Во имя всей России.

Ты знал нужду, ты знаешь труд,
Ты слишком знаешь голод.
Но ты восстал. С тобой идут
Все те, кто сердцем молод.
Будь твёрд, яви ещё свой суд,
Острог не весь расколот.

Тебя желают обмануть
Опять, опять и снова.
Но ты нам всем наметил путь,
Дал всем свободу слова.
Так в бой со тьмой, и грудь – на грудь, –
То зов сторожевого.

Сторожевой средь темноты,
Сторожевой средь ночи –
Лишь ты, бесстрашно-смелый, ты!
Твои нам светят очи,
Осуществятся все мечты,
Ты победишь, рабочий!

1906 г.

В ТЮРЬМЕ

Мы лежим на холодном и грязном полу,
Присуждённые к вечной тюрьме.
И упорно и долго глядим в полумглу,
– Ничего, ничего в этой тьме!

Только зыбкие отсветы бледных лампад
С потолка устремляются вниз.
Только длинные шаткие тени дрожат,
Протянулись – качнулись – слились.

Позабыты своими друзьями, в стране,
Где лишь варвары, звери да ночь,
Мы забыли о Солнце, звездах и Луне,
И никто нам не может помочь.

Нас томительно стиснули стены тюрьмы,
Нас железное давит кольцо,
И как духи чумы, как рождения тьмы,
Мы не видим друг друга в лицо!

1904 г.

ВОЛЬНЫЙ СТИХ

К Иваново-Вознесенским рабочим

Какое гордое счастье знать, что ты нужен людям,
Чуять, что можешь пропеть стих, доходящий в сердца.
Сёстры! Вас вижу я, сёстры. Огнём причащаться будем.
Кубок пьянящей свободы, братья, испьем до конца!

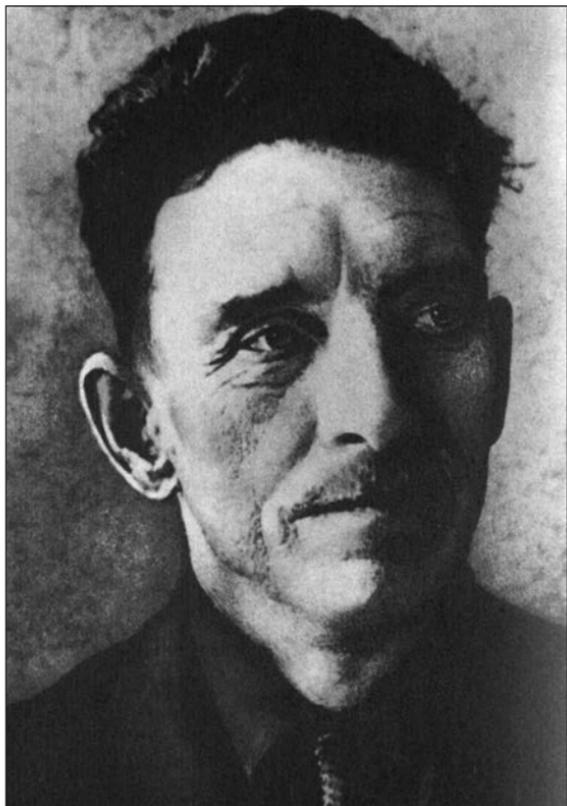
Силою мысливших смело, свершеньем солдат и рабочих
Вольными быть нам велит великая в мире страна.
Цепи звенели веками. Цепи изношены. Прочь их.
Чашу пьянящего счастья, братья, осушим до дна!

Смелые сёстры, люблю вас! В ветре вы – птицы живые.
Крылья свободы шуршат шорохом первых дождей.
Слава тебе и величье, благодатная в странах Россия,
Многовершинное древо с перекличкой и гудом ветвей!

14 марта 1917 г.

Александр Благов





Александр Николаевич Благов родился 20 ноября 1883 года в селе Сорохте Нерехтского уезда Костромской губернии в семье безземельного крестьянина. Учился в сорохтской церковно-приходской школе, затем в писцовском двухклассном училище.

С 12 лет он стал батрачить у богатых крестьян. С 14 лет работал на ткацких фабриках села Писцова и Иваново-Вознесенска.

Революция 1905 года побудила Благова по-новому взглянуть на жизнь. В автобиографии он пишет: «Затаив дыхание, я слушал на митингах речи ораторов <...> И я в первый раз стал думать, что надо учиться, надо переменить свою жизнь». С этого времени он занялся самообразованием, стал много читать, в особенности Пушкина, Лермонтова, Некрасова, Никитина, Кольцова и др., сильно увлекался творчеством Г. Гейне.

Стихи Благов любил с детства. Работая на фабрике, сочинял частушки, зачастую обличительного характера. Выученные стихи других поэтов распевал во время работы за станком. «Перебирал я в уме прочитанные стихи, – признаётся он, – и всё чаще и чаще стал думать, что надо попробовать самому написать что-нибудь про жизнь рабочего народа, про его нужду и труд».

В 1909 году с тетрадкой стихов он направился в Москву к И. И. Горбунову-

Посадову, который составил и издал книгу стихов русских поэтов «Песни о трудовом народе». Благов был знаком с этой книгой. Горбунов-Посадов взял его стихи для своего журнала «Маяк» и посоветовал посылать также в журнал В. А. Поссе «Жизнь для всех». Кроме названных выше журналов, печатается в журнале «Объединение», «Родной газете», сборнике «Перед зарёю» (1914). С этого времени началась интенсивная литературная работа Благова.

Обстановка для творчества не была благоприятной. Закончив утомительный рабочий день, поэт вынужден был возвращаться то в фабричную спальню, где одновременно располагалось до 200 человек, то на частную квартиру, забитую постояльцами. «На квартире свои стихи я писал только по ночам, сидя на печке», – вспоминает поэт.

Благов принимал участие в революционной борьбе ивановских рабочих. В 1912 году за сбор средств в фонд большевистской газеты «Правда» был уволен с работы. Вынужден был менять профессии, нанимаясь на работу на различные фабрики.

Осенью 1915 года Благов уехал в Юрьев-Польский Владимирской губернии, где освоил профессию машиниста на красильном производстве. Здесь в 1915–1916 годах написал одно из лучших своих дореволюционных произведений – поэму «Десять писем», в которой ярко отразился рост самосознания рабочего класса накануне Октября. Впервые эта поэма была напечатана в сборнике «Ступени» (1932).

Поэт с радостью встретил Октябрьскую революцию, приветствовал её в своих стихах. В 1918 году из-за голода вынужден был уехать с семьёй в деревню, где находились родные жены. До 1922 года живёт в деревне Б. Кучунур в Вятской губернии. Работает то в волостном совете, то избачом, то библиотекарем Верхопижемской библиотеки. В 1923 году переезжает в Барнаул, где трудится машинистом на чугунолитейном заводе, затем работает в Москве на ткацкой фабрике «Пролетарская победа». В эти годы поэт продолжает писать стихи, но печатается редко (журналы «Работница», «Делегатка» и др.).

С 1924 года Благов безвыездно живёт в Иванове, активно сотрудничает в местной печати. Работает отбельщиком на Ново-Ивановской мануфактуре, моторщиком на Меланжевом комбинате. В общей сложности на разных производствах, главным образом текстильных, проработал около 30 лет, хорошо познал жизнь, быт, психологию людей труда.

С конца 20-х годов главным делом жизни становится литературный труд. Некоторое время работает в штате газеты «Рабочий край» и многотиражки «Меланжист», литературным консультантом и руководителем Ивановского отделения Союза писателей СССР, редактором Ивановского областного издательства.

С 1934 года – член Союза писателей. С 1940 года – член Коммунистической партии.

Мемуаристы вспоминают, что этот рабочий человек буквально «жил

поэзией», заражал ею начинающих в 30-е годы поэтический путь М. Дудина, М. Лисянского, А. Киселёва и др. Превосходную характеристику Благову – человеку и поэту дал Дудин: «Александр Николаевич был для нас самым близким. Наверное, его человеческая доверительность и громадный жизненный опыт, знание людей и жизни делали его таким доступным, а доступность сама по себе вызвала ответную волну высокого уважения.

А. Н. Благов прекрасно знал и русскую литературу и зарубежную, и поэзия жила в его памяти, как в собственном доме, и он всегда удивлял, извлекал из своей копилки неожиданных для нас в те времена Бернса и Рембо, Верхарна и Шекспира, Мицкевича и Шелли, Петефи и Саади. Он не кичился своей начитанностью, а просто делился ею по щедрости своей души <...> Ему удавалось, читая «Во весь голос» Маяковского, как-то незаметно переключиться на «Персидские мотивы» Есенина. Он воссоздавал многообразный мир поэзии и жил в нём радостно и светло. И нас он тоже заражал этой радостью творчества...».

Умер Александр Николаевич Благов 10 сентября 1961 года.

*Биографическая заметка А. Л. Агеева и П. В. Куприяновского из книги
«Дм. Семёновский и поэты его круга»,
Советский писатель, Ленинградское отделение, 1989.*

БЕЗРАБОТНЫЙ

Зимой – в мороз и снегопады –
С утра по городу брожу
И на фабричные громады
С глубокой завистью гляжу.

Не жалко сил, не жалко пота,
Лишь за станки скорей бы встать,
Чтобы мучительной работой
Тоску голодную унять.

Но от владельцев их богатых
Один мне слышится ответ –
Холодный, режущий, проклятый:
Работы нет... Работы нет...

И крепко заперты ворота,
Погаснет день в холодной мгле,
А завтра вновь ищи работы,
Живи, как лишний, на земле.

1910 г.

ДУМА

В разгаре машинного шума,
Под мерные взмахи ремней,
Нередко отрадная дума
В душе возникает моей.

И греет, и ласково светит
Надеждой, что время придёт –
И жизнью счастливой на свете
Рабочий народ заживёт.

Поймёт он, откинув тревоги
Покорной, позорной судьбы,
Что нет ему кроме дороги,
Как только дорога борьбы.

И встанет он дружной семьёю –
За брата униженный брат,
И солнце тогда над странюю
Заблещет яснее стократ.

1914 г.

ВОССТАВШИЕ

Довольно мы были покорны судьбе,
Теперь мы воскресли душою.
Мы лучшую долю добудем в борьбе,
Мы счастье возьмём себе с бою.

Мы песню свободную грянем дружной,
И песня не даром споётся –
Мы верим, что чуткое сердце при ней
Желанием воли забьётся.

Кто любит свободу, как нежную мать,
Свободой, как воздухом, дышит,
Тот с радостным сердцем придёт в нашу рать,
Лишь звук этой песни заслышит.

Все сильные духом, все смелые – к нам!
Не тех призываем мы к бою,
Кто всё ещё молится старым богам,
Кто ищет не битвы – покоя,

Не тех, кто умеет молчать и терпеть, —
Мы в битву зовём лишь готовых
В боях за свободу себя не жалеть,
Чем вечно томиться в окопах.

1918 г.

СОНЕТЫ

1

Святая песнь «Интернационал» –
Народов гимн святой и вдохновенный,
Во дни борьбы отвагой неизменной
Как часто нам ты сердце волновал.

Под небом Франции тебя создал
Свободный ум, и твой напев священный,
Как бури шум, во всех концах вселенной
Среди рабов победно зазвучал.

Покуда в мире есть ещё рабы,
Покуда власть царей и капитала
От трудовой руки навек не пала,

Не замолчит над головой толпы
Могучий звук «Интернационала» –
Мятежный клич свободы и борьбы!..

1922 г.

ТОВАРИЦУ РАБОЧЕМУ

Товарищ рабочий, я знаю
Тяжёлую долю твою.
Я сам в этой доле страдаю,
Об ней я и песни пою.

Всю жизнь мы не знаем покоя
И думать не можем о нём.
Все силы свои мы с тобою
За хлеб богачу отдаём.

Нас утром, чуть только светает,
Свисток на работу зовёт,
И тёмная ночь нас встречает,
Едва мы вернёмся с работ.

И в нашей лачужке убогой
Мы ночь коротаем за сном,
А утром с тоской и тревогой
Опять на работу идём.

И, видно, уж век не дожждаться
Нам жизни счастливой другой
И с радостью светлой не зняться
До самой доски гробовой.

Умрём мы, одно только зная:
Ночь – отдых, день – время работ,
Завод да квартира сырая,
Квартира да чёрный завод...

1910 г.

СТОН ТКАЧИХИ

*Посвящается моей сестре,
ткачихе М. Н.*

Жарко. Голову всю разломило...
Ах, давно бы окно я открыла,
Чтобы ветром хоть чуть освежиться,
Да боюсь – будет мастер браниться:
Не велит он окно открывать –
Будет ветер основу трепать.

А денёк-то как нынче прекрасен!
Свод небесный безоблачен, ясен,
Солнце блещет, раздолье повсюду...
Убежать бы скорее отсюда
В поле, к речке, в долину, в лесок...
Да нельзя мне оставить станок.

Вон за речкою дети толпою
Собрались играть меж собою.
Я ведь тоже малюткой, бывало,
За игрой обо всём забывала,

А теперь я – работница-мать:
Надо ткать мне, без отдыха ткать.

Жарко, душно, работать нет силы.
Хоть бы время скорей проходило...
Дома дети одни без призора...
Но гудят равнодушно моторы,
И проклятое время вперёд
Всё по-прежнему тихо идёт.

1910 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Мы кузнецы	3
Авенир НОЗДРИН	5
Евгений Глотов. Пути к истине.	7
Из цикла «В городе ткающей».	20
Из цикла «Пятый год»	48
Из цикла «Годы войны»	70
Из цикла «Красная весна»	75
Как мы начинали. Из литературных воспоминаний	86
Примечания	136
Константин БАЛЬМОНТ	141
Биографическая заметка	143
Поэт – рабочему	145
Русскому рабочему.	147
В тюрьме	149
Вольный стих	150
Александр БЛАГОВ	151
Биографическая заметка	153

Безработный.....	157
Дума	158
Восставшие.....	159
Сонеты. 1 «Святая песнь «Интернационал»	161
Товарищу рабочему	162
Стон ткачихи.....	164

Поэты — рабочему

Стихи и проза ивановских авторов
к 150-летию со дня рождения
Авенира Ноздрина

Формат 60x108/32. Объем 10,5 п.л. Гарнитура Ариал. Печать офсетная. Бумага офсетная.
Тираж 100 экз. Заказ 49

Издательство МИК
153024, г. Иваново, ул. Калашникова, д. 16, офис 41
Лицензия ИД № 05927 от 28.09.2001 г.